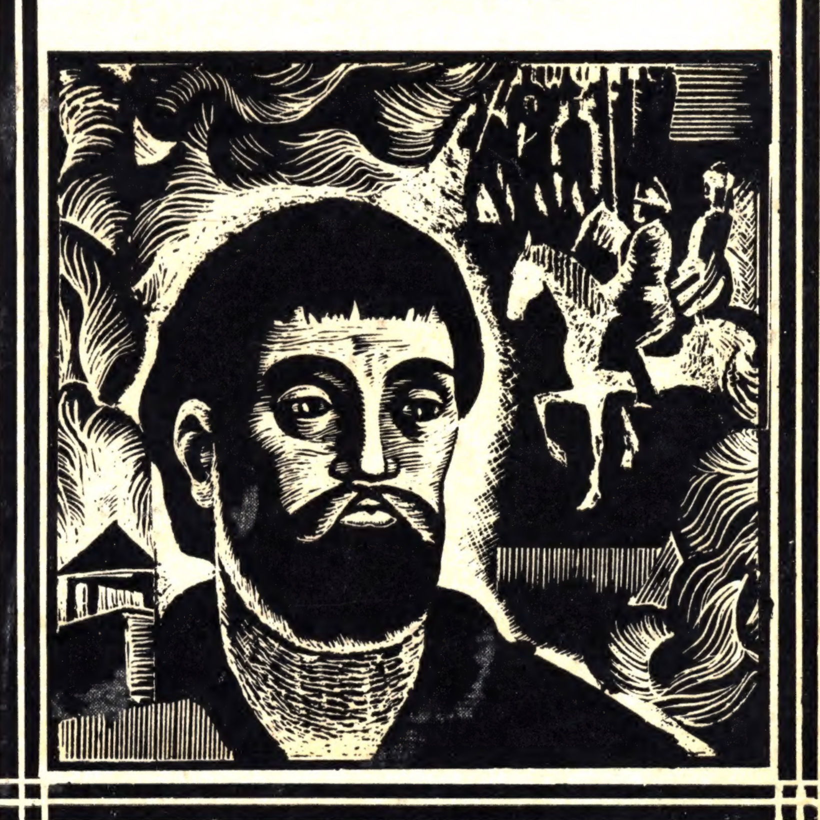
ЮРИЙ САЛЬНИКОВ

„...И ВОЛЬНОСТЬЮ ЖАЛУЮ!“





О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1974

ПУГАЧЕВ

Выпуск 41

ЮРИЙ САЛЬНИКОВ

„...И ВОЛЬНОСТЬЮ ЖАЛУЮ!“

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

9(С)14
С16

С $\frac{70803-301}{078(02)-74}$ Б3—34—028—74

ГЛАВА 1. «Я — ГОСУДАРЬ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ!»

Ранним утром в канун успеньева дня 14 августа 1773 года к постоялому двору, затерянному в сызранской степи у речки Таловой, подкатила подвода, на которой сидел приземистый бородатый человек. Шустро спрыгнув с телеги, он постучал в ворота, над которыми на длинном шесте было прикреплено колесо да клок соломы — знак гостеприимства и сигнал для всех путников-дорожников: заворачивайте, мол, сюда, отдыхайте!

На стук вышел хозяин умета Степан Оболяев, по прозвищу Еремина Курица, отставной солдат и старый холостяк.

— Ух ты, еремина курица! — воскликнул он, увидев приезжего. — Освободился, Пугачев?

— Бог помог, — усмехнулся Пугачев и, введя лошадь во двор, прошел в постоялую горницу. — А что, братушка, не искали меня здесь?

— Нет, — ответил уметчик.

— А на Яике что слышно?

— Смирно вроде, — сказал Оболяев, но не очень уверенно.

— Пьянов жив ли? — продолжал допытываться Пугачев.

— Пьянов в бегах. Как погостевал ты у него, после проведали, совращал он казаков бежать на Кубань. Ну и пришли за ним. Только он утек, еремина курица, а жинку его забрали.

— Вот тебе и смирно, — сказал Пугачев и пере-

вел разговор на другое: — Ладно, устал я с дороги. Баньку наладь.

Уходя, Оболяев оглянулся. Года не прошло с того дня, как Пугачев впервые появился здесь, на Таловом умете, — ноябрьской вьюжной ночью приехал с Семеном Филипповым в Яик за рыбой. И прожил у Дениса Пьянова в городке неделю, когда же уехал, поползли слухи; Пьянов тогда сказал — не простой у него был гость. И даже намекнул какой. А какой именно, помыслить страшно...

Вот сидит он сейчас в сермяжном крестьянском кафтане, подпоясанный цветным кушаком, в холстяной рубахе, вышитой шелком. На ногах коты и шерстяные чулки белые, а белую войлочную шляпу у двери оставил, рядом с ружьем. Кроме ружья и вещей-то нет — в телеге на сене несколько арбузов да медный котел...

Непонятная робость охватывает бывалого солдата перед этим человеком. Годов тридцати, да заросший весь, борода окладистая, волос густой, глаза черные. Вроде такой же он, как был. Однако седина появилась, борозда глубокая поперек лба легла. Облокотился на стол — широкоплечий, сильный, тяжелый взгляд в землю уставил.

Возмечтал Емельян перелом в жизни своей совершить предерзостный.

Он и сам не ведает, когда зародилось у него это намерение. По наущению ли купца-старовера добрянского Кожевникова? По подговору ли настоятеля Мечетного монастыря игумена Филарета? По чьему ли еще подстрекательству?

А может, никто не сумел бы подбить казака донского вольного Емельяна, сына Иванова, на столь рисковое предприятие, ежели б сам не увидел он во-

очию и не уверился, в каком рабстве пребывает простой люд на Руси, стоном стонет от податей и прочих отягощений!

Недаром и казаки яицкие волнуются. Даже бунт учинили, генерала Траубенберга, старшин и офицеров поубивали, а потом отправили в Питер челобитчиков — испрашивать прощения у всемилостивейшей государыни Екатерины.

Да только сильно разгневалась царица Катька и положила без замедления усмирить мятежное войско. Отобрали у яицких казаков их былые вольности, войсковую избу порушили, казачий круг распустили, сняли набатный колокол — отныне все сборы производятся барабанным боем. А главных зачинщиков безжалостно отстегали кнутом, ноздри повырывали, выжгли позорные клейма на теле и сослали в Сибирь. Остальных же — тысяч до трех счетом! — обложили денежной вытью. Но и в платеже не соблюли правоту — раскладку денег делали неравно: с иных, достаточных, меньше брали, с неимущих больше.

Попритихли яицкие, но не смирились. До сей поры в смятении — хорошего царя ждут...

В горницу вошел Оболяев:

— Банька-то слажена.

— Мне рубаху надоть, — сказал Пугачев, снимая свою.

И тут увидел: хозяин-уметчик неотрывно смотрит на шрамы его, что рассыпаны на груди, будто кресты белые. В походах давних мучили Емельяна язвы, еле поправился, а следы остались навечно.

— Что же это у тебя на груди-то? — со страхом спросил Оболяев.

Пугачев прищурился, живо смекнул: вот он, час надобный! Потребно ли иного ждать, если зараз объявиться можно?

И ответил с твердостью в голосе:

— А это знаки у меня государские!

Вовсе обомлел Еремина Курица:

— Х-хорошо, коли так. — И даже отступил на полшага, уже не от робости, а с почтением.

Понял Пугачев, что дошли и до старого уметчика слухи о пребывании «высокой особы» у Дениса Пьянова, которому он, Емельян, самолично тогда еще намекнул про свое «высокое звание». Да не поосторожничал, видать, — выдал их малыковский мужик Филиппов.

Били Емельяна в управительской канцелярии батожьем нещадно, но ни в чем он не сознался. И повезли его в Симбирск, а потом в Казань скованного, в тяжелых кандалах — на руках висело пятнадцать фунтов, на ногах тридцать пять.

Четвертый раз под стражу к государевым слугам попал Пугачев! И чудом спасся. Казанский губернатор фон Брандт отослал бумаги за приговором в Петербург. Пугачев же тем временем и утек из острога. С превеликим трудом вырвался на этот раз — колодника Дружинина подговорил и солдата Мищенко... Да вот опять и оказался на этом безлюдном умете, чтобы начать здесь с отвагой задуманное.

И, приосанившись, уже входя в роль, которую брал на себя перед миром, объявил с важностью, приличествующей его персоне:

— Доподлинно говорю тебе, истинный император я — государь Петр Федорович!

— Как же... как этому статься? — все-таки усомнился Еремина Курица. — Петр Федорович десять лет, как скончался.

— Вранье! — крикнул Пугачев. — И в Питере от дворян укрылся он и после... Потому я и есть перед тобой.

— Ну, ежели так, — опять поспешно согласился уметчик, — где же странствовал? Расскажи...

— Где да где, — успокаиваясь, ответил Пугачев и замолчал.

...Два года назад начались его мытарства. До той поры жил он как все бедные казаки — землю боронил за отцом, а семнадцати лет в Донское войско был записан, девятнадцати женился. Да не побыл с женой и недели дома — отправили в поход, в Пруссию. Воевала тогда Россия против Фридриха. Проявил Емельян в бою отменную проворность, и определил его полковник Денисов к себе в ординарцы. Но однажды в суматохе ночного боя пропал командирский конь, и приказал Денисов вольного казака Пугачева отхлестать плетьми, как собаку. Зарубцевались от той экзекуции раны на спине у Емельяна, а непрощенная обида застряла в сердце тяжелым камнем: вот она, милость господская за службу верную!

Потекла потом жизнь своим чередом — то станичная, домашняя, то снова походная — в Польшу с командой ездил, раскольников в малороссийских лесах вылавливал. Через четыре года началась война с Турцией, и опять сел на коня — под Бендерами был с отрядом полковника Кутейникова. И другорядь в бою отличился, удостоили за это: в хорунжие произвели.

Так бы до старости и служить, как другие казаки служат, да не получилось...

Как-то надумал заехать в Таганрог — повидать сестру Федосью, а зять Павлов начал жалобиться, дескать, житье у них в Таганроге такое худое — терпеть неможно, многие местные бегут. А куда убежишь? В Россию? Поймают. В Сечь Запорожскую? Без семьи соскучишься. В Прусь? Не добраться...

Жалко стало Емельяну и сестру, и зятя, и присоветовал им податься на Терек. Да еще обнадежил: перевезу вас на ногайскую сторону.

И перевез. Знал, что смертная казнь грозит не только беглецам. А отказать в помощи не мог по доброте сердечной. Зять же через полтора месяца воротился из побега и, когда скрутили его, показал на Емельяна: он на незаконность подбил! Схватили и Пугачева, в Черкасск направили. Да по дороге сбежал он. И сам на Терек кинулся. В станице Ищорской приютился. Скрыл, что с Дона беглый, добился зачисления в Терское войско — даже выбрали станичным атаманом. Нашел пристанище Емельян, живи себе не тужи. Ан нет! Захотелось и тут сотворить людям доброе дело. Казаки трех терских станиц, недовольные жалованьем да провиантом, решили послать в Петербург ходатая. И Пугачев вызвался: я поеду!

Доверили ему старики хлопоты в Бергколлегии, денег собрали, двадцать рублей, печать — знак атаманства — вручили, снарядили — и выехал. Да в Моздок завернул для закупки харчей. И попался! Угодил в руки властей беглец с Дона. Пришлось снова бежать, а его словили. И в третий раз бежал.

Так стал он в глазах властей бунтарем, преступником, беглецом неисправимым. Заказаны ему были пути-дороги к дому родному, к семье своей, в станицу Зимовейскую, где потеряли уж надежду увидеть его жена Софья Дмитриевна и дети несмышленые — сын Трофим да дочери Аграфена с Христиной.

Начались для Емельяна странствия в поисках земли обетованной! По Волге, снова на Дону, в Малороссии; даже польскую границу переходил, но через неделю вернулся и на Добрянском форпосте шесть недель у купцов по найму работал. И с кем только за это время не встречался! С крепостными, людьми ра-

ботными, купцами-раскольниками и беглыми солдатами, с колодниками и управителями, стражниками, мастеровыми, монахами... И такое про жизнь в России прознал и прослышал, что нигде уже радости для себя сыскать не может. В ужасное изнурение приведена Россия. Дворянство, в роскоши пребывая, владеет крестьянами. Законом божьим предписано крестьян как детей содержать, а господа хуже псов их почитают, с которыми за зайцами гоняются.

В Добрянском форпосте получил он паспорт на поселение в Симбирскую губернию, на реку Иргиз. Мог бы здесь уже непреследуемый жить, под собственным именем. Да не захотел!

И явился в конце прошлого года сюда, на умет к Оболяеву, а затем к Пьянову на Яик. И сейчас снова, после казанского острога, очутился здесь, потому что не бежать в края отдаленные надобно, для себя одного радость выискивая, а решиться на праведное дело — ради всей черни замордованной. Ждут обездоленные избавления от бедствий, безнаказанно творимых боярами-помещиками и судьями-мздоимцами. А у Емельяна нет больше должного благоговения и перед самой монаршей властью, и перед престолом самодержавным. И страха божьего тоже нет!

Об этом тем паче не расскажешь уметчику-хозяину, да и никому на свете не скажешь, коль скоро подмога мерещится непременно в имени пресветлейшем императорском. Пусть же так и станет! Казак донской Емельян Пугачев отныне и есть император всероссийский Петр Третий, в бозе почивший да из мертвых паки воскресший...

И, отвечая Оболяеву, сказал Пугачев увертливо, наперед зная, что не раз теперь придется прибегать к этой небыли:

— Где был я, братушка, где не был, одному богу

вестимо. И холоден, и голоден. Как во дворце-то Катькина гвардия за мной пришла, капитан Маслов меня выпустил. И ходил я в Польше, в Царьграде, во Египте. Оттоль и к вам явился. Вот примут ли меня теперь казаки-то яицкие, согласны ли будут?

— Отчего не принять, — сказал Оболяев. — Ждали они тебя. Завтра ко мне должон Закладнов с Яика быть, поведаю ему, а он верных людей приведет.

— Добре, — согласился Пугачев, но добавил строго, внушительно: — Только оглядчиво робьте. Опасенье половина спасенья.

— Знамо дело, — кивнул Оболяев. — Уж будьте покойны, ваше величество.

Пугачев метнул придирчивый взгляд: не потешается ли? Да нет... С серьезностью замер у порога старый солдат. И мороз продрал по спине Емельяна: в первый раз человек, ему равный, так возвысил его названием.

— Ладно, ступай, — сказал он властно. — Да рубаху-то принеси, — напомнил вслед и поспешил накинуть на плечи кафтан.

А оставшись один, почуял, как гулко колотится сердце.

Вот и затеялось! Вот и переступил! И нет отхода назад. А как сладится-то теперь? Не будет ли новой промашки? Не подведут ли казаки? Все ли успешно пойдет? Задуманное свершится ли?

ГЛАВА 2. «КАЗАКИ, НА КОНИ!»

И свершилось.

Приехал на Таловый умет названный Оболяевым Гришуха Закладнов, потом Денис Караваев, через три дня другие надежные люди. Емельян пообещал, что поможет им вернуть былые яицкие вольности.

Тогда Караваев разом объявил:

— За нас заступишься — и наше войско с радостью тебя примет.

— Ну вот и зови, кого надобно, — приказал Пугачев, поняв, что уладили полюбовный сговор. — Да смотри, ежели замешкаются казаки, загодя предупреди, чтоб ушел я непойманный.

— За это покоен будь, — уверил Караваев. — Не выдадим.

И верно: дело они повели с осторожкой, рассудительно, заботливо. Когда через три дня сызнова навестил Караваев со своими способниками, разговор прежде всего затеяли об отъезде «государя» с Талового умета.

Емельяну и впрямь приспело время упрятаться потаеннее. Пока казаки сбирались к нему, решил он съездить в Верхний монастырь раздобыть писаря: какой царь без писаря? И отправился туда с Оболяевым. Да опознал его один тамошний, учинилась погоня, едва убрался на лошади. Еремину Курицу схватили, вернулся на умет один. А здесь уже четверо ждали: степенный Караваев с Максимом Шигаевым и Зарубин-Чика с молодым разбитным Тимохой Мясниковым.

К ночи переправили они высокого гостя на хутор Кожевниковых, что на Малом Чагане, в тридцати пяти верстах от городка Яика. А там объявились новые сподвижники.

Пугачев распорядился купить одежду приличную, подушку на седло, намет богатый вместо потника — три рубля денег ссудил на это. А еще велел сыскать все же грамотея, да про знамя помянул — святое дело следует обнаряживать потребным образом. Казаки пообещали все исполнить.

Через день Зарубин-Чика привез казацкое знамя, сказал:

— Бывало оно в походах не единожды, а когда мы летось против Траубенберга вышли, не отдал я его атаману, сберег, теперь нам и сгодится.

Пугачев уже знал, что тридцатишестилетний Иван, сын Никифора, прозвищем Чика — племяш одного из предводителей прошлогоднего яицкого бунта. И дома он тогда не отсиживался, за что угодил под стражу да бежал в степь и скрывался на Узенях в землянках. Что-то схожее со своей судьбой нашел Емельян в этой истории Чики, казака статного, сметливого, черного, как грек, въедливого и резвого. И приветил его, похвалил за знамя, только спросил:

— А еще не найдем?

— Коль надо, и еще будет, — ответил Зарубин.

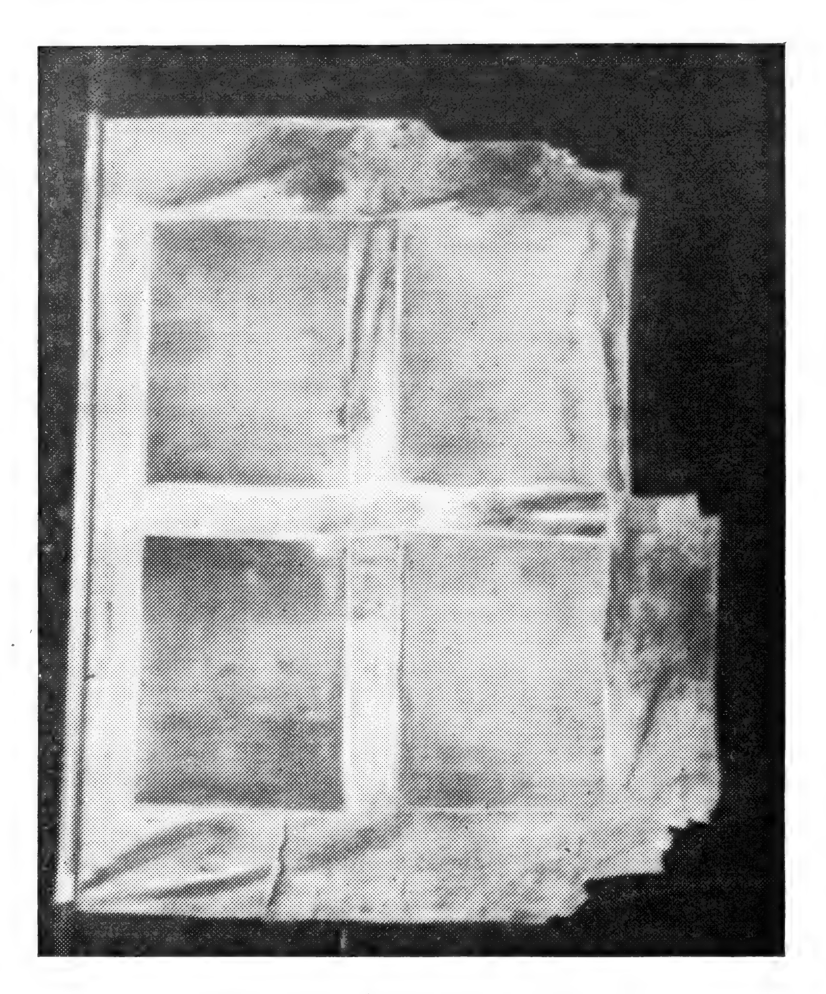
А через неделю с Яика прискакал рыжий хозяин хутора Андрей Кожевников — конь в мыле, сам встрепанный, суматошно сообщил:

— Караваева схватили! Сыскная команда готовится вас ловить.

Нимало не мешкая, Пугачев с Зарубиным и Тимохой Мясниковым ускакали на Коноваловский хутор, переночевали там. А утром, взяв хлеба, мяса да круп котел, отъехали еще подале — на речку Усиху, где прямо на берегу и растянули палатку под высоким деревом, с которого удобно наблюдать за всей округой.

Мясников подался назад в разведку и вскорости привез вести: сыскная команда осталась несолоно хлебавши, но разгласка по всем форпостам пошла о царе-батюшке — де, живет он где-то близко скрытным образом. И ждут его теперь все казаки непослушной стороны с превеликим нетерпением.

Пугачев и сам это почувствовал: стали охочие сами собой стекаться на Усиху — к тем, что прежде были, добавились казаки с Яика и «трухменской» народно-



Знамя одного из пугачевских отрядов.

сти люди: татарин Баранка, калмык Малаев, Идорка Байменов с сыном Болтаем.

Иван Харчев привез еще четыре казацких стяга. Пугачев разодрал один пополам:

— Так делите! Нам много треба.

Нарочно такую уверенность выказал перед всеми, будто непременно станет у них несметная рать.

Была на нем уже новая одежда — набойчатая рубаха, пестрый халат, красные козловые сапоги. И стояли рядом казаки — старики и середовичи-бородачи, а среди них и вовсе один отрок в ранней поре жизни, лицом по-девичьи свежий, с льняными кудрями, голубоглазый Ванюшка Почиталин, сын Якова. Прислал яицкий казак своего сына к «царю» в услужение с дорогими подарками — зеленый зипун с золотыми позументами, шелковый кушак, мерлушковая шапка-трухменка с бархатным верхом.

Но лучшим подарком оказалось то, что Иван Почиталин был обучен русской грамоте.

— Гарно! — обрадовался Пугачев. — Будешь у меня писчиком. Зараз и сочиняй именной указ, чем казаки будут мной жалованы.

Не уставал он в эти дни говорить о щедрости своей «царской», о милостях, которыми осыплет казачье войско, да и всех, кто приклонится к «его императорскому величеству». С настороженным вниманием приглядывался к каждому новому человеку, едва появлялся тот в приречном их таборе, спешил убедить в надежности затеянного предприятия. Вечерами у костра, перед палаткой, повторно вел «прояснительные» речи про себя:

— Такое обо мне разглашение, детушки, якобы помер я, но сие ложно...

Свыше десяти лет минуло с тех пор, как при дворцовой смуте в Петербурге убили императора Петра

Федоровича. Воцарилась тогда его жена Екатерина. Начала она издавать законы, которыми делала дворянам всякие послабления. И укрепился народ в мысли, будто потому дворяне и убили царя, что был он для народа хороший. Процарствовал он всего полгода и никакого облегчения забитым холопам не сделал, но казалось им, что, если б остался царем Петр, было бы в жизни все по-другому. И думали о нем как о спасителе, верили, что живой он, ждали его возвращения. Не случайно же за десять лет после смерти императора в разных местах России объявлялись пять Петров Федоровичей — самозванцев!..

Вот и Пугачев, в выдумке для всех желательной утверждаясь, с каждым разом все красочнее фантазировал про судьбину свою царскую:

— Когда я, детушки, плыл из Петербурга в Кронштадт, то приказали за мной смотрение офицеру Маслову, а он меня возьми да выпусти, а на мое место другого посадил. С коего времени я и странствовал. И увидел, что не имеет народ в России никакой подпоры и терпит обиды страшные.

— Терпим, батюшка, терпим, — соглашались казаки. — Старшины у нас новые чины вводят, легионы делают, детей в солдаты хотят, а нам бороды брить.

— И завсегда так бывает, ежели настоящего пастыря нет, — вразумлял Пугачев. — Вот и не покиньте меня, держитесь за мою правую полу. В писании мне еще год писано не являться, — говорил он, прищуриваясь (всякий раз так глаза косил, ежели на хитрость шел), — да принужден я был ныне явиться, для того, коль вас не увижу, так всех погубят. А от меня не отстанете, люди будете.

И рисовал им, что наперед намечает:

— На Москву пойду, жену неверную Катьку в монастырь сошлю, а на престол сяду, стараться буду,

чтоб все порядочно было, чтоб народ не отягощен был. От дворян деревни лучше отнять. Вас же, казаков яицких, буду жаловать всякой вольностью и деньгами.

Верили или не верили казаки, что перед ними законный царь? Сомнений вслух не проявляли, однако и почета, государю достойного, в первое время не оказывали. Осторожничали.

А Пугачев меж тем каждое слово свое тоже взвешивал. И как один из недоверчивых спросил: отколе знаки-то государские берутся — от роду на теле отпечатаны или потом ставятся? — усмотрел Емельян для себя трудность в ответе и почел за лучшее разгневаться. Сдвинул грозно брови и прикрикнул, топнув ногой:

— Раб ты мой, а пытать осмелился? Это я у тебя волен спрашивать, а ты ответствуй покорно.

Притихли все, кто рядом находился, — в смущении ли, в страхе ли перед властностью монаршей? А Пугачев и в том свою силу почуял: твердый характер являть надобно.

Но быстро сменил гнев на милость, засмеялся:

— Так-то, детушки, и решим. Я у вас теперь орел пеший, а вы подправьте сизому орлу крылья.

И все зашевелились, загудели, поддакивая:

— Будет так, ваше величество.

Когда же отпустил их Пугачев, остался с ним один Зарубин-Чика и с глазу на глаз не убоялся задать главный вопрос:

— А все же скажи про себя сущую правду, государь ли ты?

— Точный я государь! — ответил Пугачев.

Но прилипчивый Зарубин не отступал:

— А вот Караваев сказывал...

Пугачев гневаться не стал: от верных приверженцев, видно, лучше не скрывать. Шепчутся промеж себя

казаки, обсуждают обличье «государя». Пугачев и сам понимает: шибко он смахивает на человека простого звания. Подстрижен по-казачьи и при бороде, платье не царское носит. И речью сумнителен — слова убогие сыплет, а ученых ни одного, по-заграничному не разумеет. Да и вовсе неграмотный: как, часом, ни прикидывайся, как ни верти в руках писаную бумагу всем напоказ, будто читаешь, все равно ни буковки не разберешь. Не дураки люди-то, видят...

Так не вернее ли открыться согласникам, чтобы с их подмогой и пресекать наперед вредоносные толки?

Недаром и Зарубин, докучая, просительно уверяет:

— Нас, батюшка, только двое сейчас, и я клятву даю — никому не сказывать.

Оглянулся Пугачев по сторонам.

— Ну, коли так, Чика, смотри держи втайне.

И открылся перед ним: правду сказал. Польщенный доверием, Зарубин с еще большей пылкостью начал уверять:

— Батюшка государь, мне ведь и нужды нет, хоша кто будь, раз мы тебя приняли...

А вечером о чем-то шептались с ним Мясников и Иван Почиталин. Видно, тоже допытывались. И дошли потом до Пугачева их речи: дескать, и нам все равно, подлинный ли он, лишь бы жить в добре, для восстановления наших упадших обычаев делаем его над собой властелином, берем в свое защищение.

С того дня Емельян приметил, что стали почитать его много усерднее. Особливо Зарубин-Чика, который, узнав о нем правду, гораздо ревностнее прилюдно величал государем.

Казаки пеклись о нем, решая, как показать яицкому народу. Убыстрилось дело нежданным случаем. В Яике на базаре Петро Кочуров спьяну выболтал: на Усихе царь стоит!

Комендант городка подполковник Симонов и казацкие старшины унюхали еще до этого: что-то затевается. Потому и снаряжали команду на Кожевниковский хутор, но ничего не вызнали. Не выдал и Караваев. А тут, как схватили Кочурова, срочно выпустили новую сыскную команду. Да хорошо брат Кожевниковых, Степан, проведал об этом, вскочил на коня и, обскакав ту команду в степи, добрался до Усихинского стана раньше.

Пугачев вышел из палатки, крикнул зычно:

— На кони, казаки!

И поехали все дальше к Бударинским хуторам.

Только теперь-то десять всадников, что с Пугачевым скакали, уже не просто бегством спасались. Нет! Твердое намерение они имели — не укрываться более, а дело начать.

К ночи достигли хутора Толкачева и всем местным объявили сбор. Утром собралось перед Пугачевым человек сорок. Как перед императором, сняли шапки. Он сказал им:

— Детушки верные, кличьте всех прочих, говорите — вот он, здесь я!

И на другой день, 17 сентября, на хутор Толкачева сбежалось уже сто человек. Опять вышел к ним «государь всероссийский» и приказал юному писарю Почиталину огласить именной указ, манифест императорский. Звонким голосом начал читать Иван Почиталин бумагу, еще на Усихе им писанную, и хоть не шибко каким оказался он грамотеем, а с душой написал, до сердца прошибало.

Первый указ Емельяна Пугачева яицким казакам:

«Самодержавного Ампиратора, нашего Великого государя Петра Федоровича Всероссийского, и прочая, и прочая, и прочая.

Во имянном моем указе изображено Яицкому войску: как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей крови, дяды и отцы ваши, так и вы послужите за свое отечество мне, Великому Государю Амператору Петру Федоровичу. Когда вы устоите за свое отечество, и не истечет ваша слава казачья отныне и до веку и у детей ваших. Будете мною, Великим Государем, жалованы: казаки, и калмыки, и татары, и которые мне, Государю Императорскому Величеству Петру Федоровичу, винные были, и я, Государь Петр Федорович, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рекою с вершин и до устья, и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом.

Я, Великий Государь Амператор, жалую вас,

Петр Федорович.

1773 году синтября 17 числа».

— Хорошо ли слушали, детушки? — спросил Пугачев, когда умолк писарь.

— Отменно, батюшка, надежа-государь, — ответили собравшиеся.

— Ну так на кони, казаки! — опять призвал Пугачев.

Легко вскочив в седло — проворный, ладный, в талии тонкий, — он осанисто выехал вперед под развернутые знамена. Подняли их все семь — сколько припасли цвета разного — зеленые, васильковые, дымчатые, — иные с крестом, нашитым на середине. За Пугачевым двинулись и все прочие — кто с первого дня к нему пристал и кто только что...

А не успели отмерить и десяти верст, чуть не вдвое числом выросли — присоединились казаки с соседних хуторов, калмыки, окрест кочующие, своих соплеменников башкирцев привел Идорка Байменов. И без боя

сдались первые на их пути форпосты — Кошевский, Чаганский, Бударинский.

Так, не имея задержки, направились они прямиком к взбудораженному городку — столице войска Яицкого.

ГЛАВА 3. «И ПОБРАЛИ ВСЕ КРЕПОСТИ...»

Яицкий городок они не взяли.

Подошли к нему вплотную, встретились с высланными комендантом Симоновым войсками, но боя и здесь не случилось, потому что сразу перешли к Пугачеву многие казаки. Одну партию привели Андрей Овчинников и Дмитрий Лысов, которой еще на Усиху наезжал заговорщиком, а с другой командой явился старшина Витошнов. Его против бунтовщиков послал майор Наумов, стоявший с солдатами и пушками у стен города. Но и Витошнов с Пугачевым драться не захотел. Тогда Наумов, убоясь дальнейшей измены от казаков, убрался восвояси за яицкие стены. А с Витошновым пришел к Пугачеву и Максим Шигаев — тот рассудительно-молчаливый казак, что навещал его еще на Таловом умете.

Под знаменами Пугачева оказалось уже полтысячи человек.

Но и с такой силой Яицкий городок взять было нельзя — гарнизон сильный, на стенах пушки. Когда на другое утро восставшие предприняли штурм, комендант Симонов велел палить из всех батарей.

Пугачев осадил коня, приказал прекратить атаку.

— С голыми руками не пройдем, — сказал он подъехавшим к нему Зарубину и Овчинникову.

И, не слезая с лошадей, поскакали они вверх по Яику.

С того часу и затеялся сокрушительный их поход

под стены оренбургские! Почти без сопротивления побрали они все крепости по Яицкой линии, и чугунные пушки с собой захватывали, а вернее, форпостные караульщики сами их отдавали. Сколько же тех форпостов встретилось на пути, Пугачев сосчитать не успел, и как называются, про все не знал, и кто командовал ими — не упомнил. Только веселился сердцем — везуче идут, триста верст до Чернореченки отмахали за десять дней! Как снежный ком, накатываясь, становится неохватнее, так их войско умножалось неимоверно.

Когда еще от Яика двинулись с полтыщей, понял Емельян: одному ему теперь с такой толпой не управиться. И на остановке у озера Белые Берега созвал он казачий круг. Сами себе тут яицкие казаки раздарили всякие чины: атаманом выбрали Андрея Овчинникова, полковником сделали Дмитрия Лысова, а Шигаева провиантским заправилой, многих есаулами нарекли, в том числе старика Витошнова и Федора Чумакова, а Зарубин-Чика попал в хорунжие.

«Государь император» утвердил все эти назначения, потом привел верноподданных к присяге. Присягу пленный сержант сочинил. Поймали того сержанта Кальминского в степи и хотели повесить. Да он повинился, поклялся, что будет Петру Федоровичу верой-правдой служить, и помиловал его Емельян, определил в помощники писарю Почиталину.

Только яицкие казаки остались этим недовольны.

Приметил Пугачев — горазды они на жестокую расправу. У Яика, едва пристав к Пугачеву, привели Овчинников с Лысовым да Витошнов одиннадцать человек связанных — из старшинской команды. И потребовали, чтобы казнил их государь незамедлительно, дескать, людишки они очень вредные. Пугачев остерег их:

— Не погрешите, детушки, безвинных не погубите.

Казаки ответили:

— Так мы же, ваше величество, знаем их. Смертельную обиду они всем нам чинили.

— Ну так хоть до завтрева потерпите. Подержите под караулом, а утром уж мое решение будет.

Думал: поостынут «детушки» до утра, и уговорит он их не губить пленных. Но не умягчились казаки, подступили с теми же резонами: избавь нас от сих злодеев незамедлительно! И согласился Емельян...

Сержанта все-таки отстоял. И с другими пленными, которых брали в разных крепостях, старался обойтись милосердно. Даже принимал иных дворян-офицеров, кои не оказывали сопротивления и охотно в службу шли, — уповал на то, что своими знаниями будут полезны. Дело-то вон какое затеяно большое и правое — зачем же зверство творить? Для того и увещевательные бумаги слал везде вперед себя — указы и манифесты императорские, — убеждая супротивников сдаваться без боя. И когда встречали его добром, вдвойне радовался Емельян: что почитают его заступником обиженных и что кровь понапрасну не проливается.

Ну а ежели бой учинялся, бесстрашно выскакивал Пугачев вперед на горячем коне. Один из казаков предупредил:

— Поберегся бы, государь-батюшка.

Пугачев засмеялся:

— Не бойся, старый человек, на меня пушка еще не вылита!

И верно, не трогали его ни пушечные ядра, ни пуля ружейная.

Самый первый упорный бой случился у Татищевой крепости.

По всей Яицкой линии эта Татищева — наикрупнейшая. Стоит она при впадении Камыш-Самары в

Яик, бревенчатой стеной обнесена. Богато всего в ней — казны денежной, продовольствия, амуниции на складах. И силы изрядно у коменданта Елагина — солдат до тысячи, если посчитать и присланных для подкрепления из Оренбурга. А еще и казаков оренбургских сот до шести.

Елагин выслал против Пугачева сначала лишь легкую команду с одной пушкой при двух офицерах. Один из них сразу был убит, другой, хоть и дворянин, согласился добровольно повстанцам служить, солдаты тоже ружья положили. После этого Пугачев хотел устроить переговоры с Елагиным, но в крепости не захотели слушать, открыли пушечную стрельбу. Тогда разделил Пугачев свое войско на две части — одну препоручил Витошнову, другую взял сам и с двух сторон пошел на штурм. Не удалось таким манером преодолеть бревенчатые стены. В это время задул сильный ветер. А вокруг крепости стояли стога сена. Велел Пугачев сено поджечь. Пламя налетело на крепость, деревянные укрепления загорелись, занялись и ближайшие дома. Солдаты бросились пожар тушить, а пугачевцы под дымовой завесой ворвались в крепость.

Первое серьезное сражение кончилось победой, и это окрылило всех — испробовали свою силу и еще больше в себя поверили. Да и опять числом увеличились — примкнули к ним казаки во главе с сотником Тимофеем Подуровым. А Подуров не простой казак — депутат выборный. Лет семь тому назад ездил он в Питер от казачества царице Катерине наказ давать в комиссии — как, мол, народом ей лучше править. Не вышло ничего из той царицыной затеи, вот Тимофей Подуров и решил тоже перейти на сторону восставших.

После татищевой победы через день Пугачев въехал в Чернореченку. А отсюда до Оренбурга уже рукой





подать — путь беспрепятственный. Будто играючи пронеслись за десять дней через все форпосты и крепости яицкие, в седле красуясь, во многие же места еще и с торжественной пышностью вступали, под заливистый колокольный звон.

На полдороге меж Яиком и Оренбургом — Илецкий городок. Эта крепость тоже не малая — казаков в ней до трех сотен, на стенах орудия.

Пугачев загодя выслал сюда подговорщиков — сам Овчинников-атаман поехал с увещевательным письмом и посулил илецким казакам от имени Петра III все те вольности, что уже давно обещаны яицким. Не оказалось у Пугачева супротивников в Илеке — никого, кроме атамана Портнова. С помощью Овчинникова арестовали Портнова. А Емельяна встретили так, как еще нигде его до того дня не встречали. Вышли все навстречу со знаменами, с хлебом-солью, два попа в ризах несли кресты и иконы, колокола трезвонили как в престольный праздник, а в церкви отслужили молебен, и дьякон громоподобным голосом поминал имя всемилостивейшего самодержца всероссийского Петра Федоровича, имя же Катерины вовсе не поминал. После богослужения и Пугачев сказал свое слово, пообещал: как доберется до столицы, всем верным людям поможет, у дворян деревни отымет, на радостях с сыном Павлом свидится. И, говоря о наследнике, даже слезу пустил для вящей убедительности.

Потом обедали у местного казака Ивана Творогова.

Весьма доволен остался Пугачев илецким хлебосольством, но углядел за Твороговым изрядное лукавство. Не прост, ох не прост хлебосол усердный! Дом его в Илеке наибогатейший. И прежде разные господа останавливались здесь на ночлег. А вот пристал Творогов к Пугачеву. Почему? Что его толкнуло на

это? Не страх ли перед гневом народным — когда бы удумал супротивничать, как атаман Портнов... А может, возвыситься возжелал при персоне «императорской»? Или иная какая корысть движет?

Два дня стояли в Илецком городке. Пугачев осматривал крепость, проверял пушки. К тем, что валялись на земле, велел приладить лафеты. Артиллерии накопилось уже много, и определил Емельян ею заведовать Федора Чумакова. Из илецких же казаков полк собрал и полковником поставил Ивана Творогова. Но все эти дни приглядывался к нему: а не таит ли хозяин криводушие за своей обходительностью? И обнаружил ответное твороговское высматривание. Исподтишка «всепокорнейший раб» тоже изучал «царя». Когда Почиталин начертил важную бумагу, Творогов первый взял ее из рук писаря и передал Пугачеву. Вроде со смиренным поклоном вручил:

— Не угодно ли теперь вам подписать, ваше величество?

И затаился: посчитал, поди, что словил Емельяна на неучености.

Только подержал Пугачев ту бумагу развернутою перед собой и отдал обратно Почиталину:

— Хорошо написано, братец, исправно все. Да подписывать-то мне ее самому сейчас еще неможно, до Москвы пока. Вот ужо как сяду на трон, в ту пору и почну свое имя высочайшее выставлять.

И прищурился, скосив глаза на Творогова — так-то, хитрец илецкий! Донского казака на кривой не объедешь.

Творогов словно в толк взял, что раскусил его Пугачев, заюлил сразу, залебезил, начал подавать советы: дескать, печатку царскую, ваше величество, государь батюшка, сготовить надобно, чтобы казенные бумаги скреплять. И тут же труд принял на себя —

мастеровых привел. Вырезали те серебряники Пугачеву именную печать с вензелем Петра III. Понравилось это Емельяну. Похвалил Творогова. А тот пуще прежнего сделался обходительным — нашел другого умельца, богомаза тонкорукого с красками масляными.

— Позволь, батюшка государь, лик твой изобразить...

Эта затея тоже весьма приглянулась Пугачеву. Сел приосанившись. Богомаз краски разложил, доску выставил на треноге. Творогов опять же голос подал: негоже государя на простой доске малевать. Сподручнее бы на холсте, как у господ принято. Да где холст-то сейчас возьмешь? Тут Зарубин оказался, вспомнил: у атамана Портнова в доме «Катькину морду» он видел, казаки ее со стенки скинули, когда разоряли атаманово имение. В тот же миг приволокли «Катькино изображение». Гордо, фасонисто глазела с портрета императрица — прическа пышная, шея открытая, через грудь протянута лента, изукрашенная звездами. Только во лбу у Катерины пробоина, дырка рваная: кто-то из казаков, спихивая со стены портрет, проткнул его непочтительно.

— Это ничего, — сказал богомаз, — дырку я залатаю.

— А меня где же здесь посадишь? — смеясь, спросил Пугачев. — Бороду, что ли, Катьке прилепишь?

— Вовсе ее замажу, — объяснил умелец.

И приступил к делу. Замазана была Катерина-императрица, а дырка заделана. И по чистому полю намалеван Емельян — в кафтане, волосы темно-русые из-под шапки лезут, курчавятся, борода с проседью, все как в натуре. Искусный рисовальщик попался, особливо глаза тщательно расписал — с живым блес-



Портрет Е. И. Пугачева, написанный в Илецком городке в сентябре 1773 года поверх портрета Екатерины II.

ком, смотрит Емельян вдаль задумчиво, да и то сказать: пока сидел перед живописцем смирно, о чем только не передумал — про то, что было, про то, что будет.

И когда взял портрет в руки, чтоб оценить рисовальщика по заслугам, подумал: вот каков ты, казак донской Емельян, сын Иванов! Первый из рода Пугачей удостоился этакой чести — маслом писан! Так бы и обозначить теперь тебя под собственным именем, чтоб через годы, века люди знали: жил на земле! Да не волен ставить имя свое настоящее.

— Что же, — вздохнул Емельян, возвращая портрет художнику, — указуй теперича, когда малевал меня.

И опять сидел смирно, глядя, как выводил рисовальщик в верхнем углу холста буквы: «сентября 21, 1773».

Мы и сегодня, через двести лет, можем прочитать эту надпись: портрет Емельяна Пугачева сохранился до наших дней.

Когда после первоначальной реставрации учеными была вскрыта часть фона и левая нижняя сторона с написанным на ней казацким кафтаном, обнаружился за портретом Пугачева портрет Екатерины Второй. Так и смотрят на нас сейчас с этого древнего холста две пары глаз — холодные, надменные глаза российской императрицы и задумчиво-выразительные, живые и умные, черные глаза донского казака.

И это как своеобразный художественный символ той эпохи: замазана дворянская царица, а поверх нее запечатлен крестьянский вождь!

В чьих руках побывал, кем был сбережен для нас этот удивительный портрет?

Известно, что долгое время он находился в коллекции крупного промышленника Н. И. Путилова. Потом его приобрел один из

наследников генерала А. П. Ермолова. От него портрет попал в Московский Исторический музей.

...Грубо зашпаклеван прокол на холсте с изображением Екатерины. И уже почти незаметна наполовину утраченная дата на лицевой стороне пугачевского портрета. Но зато отлично читается еще одна надпись — на обороте, сделанная славянским шрифтом:

«Емельян Пугачев родом из казацкой станицы нашей православной веры, принадлежит той веры Ивану, сыну Прохорову, писан лик сей 1773 г. сентября 21 дня».

Кто же и когда написал эти слова?

Едва ли они появились при самом Емельяне Пугачеве — ведь он называл себя Петром III и, пока возил портрет с собой, не смог бы никому простить такого письменного разоблачения. Но если помета сделана позже, человеком уже независимым от Пугачева, то, очевидно, таким, который точно знал имя художника.

А может быть, этим человеком был хитрый илецкий казак Иван Творогов, прошедший с Пугачевым весь путь от Илека, а в самом конце его гнусно предавший?..

Из показаний Ивана Творогова при допросе в казанской Секретной комиссии 27 октября 1774 года:

«Злодея почитал я прямо за истинного государя Петра Третьего потому, во-первых, что казаки приняли и почитали его таковым; во-вторых, старые солдаты, так, как и разночинцы, попадающие разными случаями в нашу толпу, уверяли о злодее, что он подлинный государь; а в-третьих, вся чернь, как-то: заводские и помещичьи крестьяне, приклонялись к нему с радостью и были усердны, снабжая толпу нашу людьми и всем тем, что бы от них ни потребовано было, безотговорочно».

ГЛАВА 4. КРЕПКА СТЕНА ОРЕНБУРГСКАЯ

5 октября 1773 года началась осада пугачевцами города Оренбурга.

Приступил бы Емельян к Оренбургу и раньше, да уговорили Пугачева татары из Каргалы зайти к ним. Посчитал он за нужное это сделать. Каргала-то, а иначе — слобода Сеитская — по размеру равновеликая Оренбургу. И все ее жители, как слышал Емельян, готовились служить ему верно.

Так и получилось — приняли его с несказанной пышностью. Землю у мечети устлали ковром, а едва подъехал, подхватили под руки, помогли сойти с коня и все, как один, ниц пали.

Уселся Емельян в золоченое кресло. То кресло было забрано с губернаторского хутора, мимо которого держали путь. Другие господские дома, что попались близ Оренбурга, тоже потрясли попутно, да и церквушки не пощадили — образа, на холсте писанные, подложили под седла, приспособили вместо потников. Обзавелись кое-чем. Вот и «царю-батюшке» трон раздобыли.

Только сидеть на нем Емельяну непривычно. Поднялся сам и народ поднял:

— Вставайте, детушки. Добрые люди вы, что так меня встретили. Дарую вам за то волю вечную! — Он поцеловал поднесенный хлеб с солью, а растроганные подданные лобызали ему руку.

Потом каргалинские старшины свой дар объявили: к воинству «Петра III» прибавили полутысячный отряд.

— И безмерно ваше войско умножится, — сказали они. — Нерусские народности от вас ждут приветного слова.

И правда. Как ни торопко шел Пугачев от Яика до

этих мест, а молва о нем летела быстрее. Понапрасну ли призывные манифесты вперед себя слал? Посланцы знатного старшины Ногайской дороги Кинзи Арсланова уже караулили Пугачева в Каргале. И сразу заявили, что вся башкирская сторона к нему приклонится, ежели пришлет он свой указ.

В тот же день был составлен указ. Да не один! Приказал Емельян всем грамотеям сочинять на языках, на каких только горазды они изъясняться, чтобы в любых местах было читано с понятием. Вечером утвердил те указы. Болтай, сын Идорки, изложил по-татарски, у башкирцев и сеитовских татар отыскались писчики, разумеющие по-персидски, по-турецки и по-арабски. И постарались все, вкупе с Почиталиным и Подуровым, расписали стилем торжественным, не поскупились на прославление «государя».

— «Тысячью великой и высокой, и государственной владетель над цветущим селении.. милостив и милосерд, сожалительное сердцо имеющий... во всем свете славной, в верности свят, реченным разного рода людям под своим скипетром самодержавец...»

С трудом перевел дух Почиталин, все эти титулы выговорив.

— Не дюже ли речисто? — усмехнулся Пугачев.

— Зато знатно, — ответили казаки. — Пущай так будет.

— Коли так, оглашай дале, — разрешил Пугачев.

— «Будьте послушны вы и к сей моей службе преданность учините, — продолжал Почиталин. — А я вас отныне жалую...»

И сызнова перечислил он все, что обещано было в указе яицким казакам, — земля, вода, леса, посевы, пропитанье и жалованье, свинец и порох...

— Погоди трохи, — опять прервал «царь». — Тут инако поставь.

И замолк обдумывая. В самом первом указе, сочиненном Почиталиным, недоставало слов о воле. Само собой, они разумелись, но каждый раз, говоря с народом, напоминал Емельян старательно: и вольностью вечной вас жалую! Башкирцам же, и калмыкам, и всем прочим народам, раздольно кочующим, про это тем паче надлежит сказать, да еще подоходчивее для них выразить.

— Указуй так, Ванюшка: всем волю даю — и детям вашим, и внукам. Пребывайте отныне как звери степные!

— Якши, якши! — обрадовался Болтай. — Верный слово, бачка осударь! — И вписал эту фразу в свою бумагу.

Когда же дошла очередь ему читать, увидел Емельян — и у него тоже отменно изложено: «Заблудшие, изнурительные, в печали находящиеся, ко мне скучившиеся, услыша имя мое, ко мне идти, у меня в подданстве и под моим повелением быть желающие! Без всякого сумнения идите!»

— Пусть без сумнения идут! — подтвердил Пугачев. — А оглашать указы мои во всех сторонах живущим, и в пути проезжающим, и в деревнях на каждой улице.

— Дозволь добавить, надежа-государь, — вступил артиллерийский командир Федор Чумаков. — Укажи, что милости от тебя всем много будет, в чем пред богом даешь заповедь. А кто противиться станет, таковым голова рублена и пажить ограблена.

Емельян нахмурился. Все же так и тянет яицких казаков крутой расправой стращать. Ну да ладно, коекого и вправду припугнуть не мешает.

— Пиши и это! — ткнул он перстом грамотею и заключил: — Скрепляю бумаги сии — октября первого числа, в день субботний, в праздник покрова.

Призвали рассыльников, дали им конверты с надписями. Толмачи копии размножили для многих иноязычных жителей, и поскакали гонцы во все концы — в Башкирию и в Сибирскую область, на Самарскую линию и по всей Оренбургской губернии.

Пугачев не стал задерживаться в Каргале. На другой же день, загодя выслав вперед себя Шигаева, с почетом вошел в соседний Сакмарский городок. А тут к нему явился Хлопуша.

Пугачев стоял у своей палатки в лагере за Сакмарой, разговаривал с Шигаевым о делах провиантских, когда подвели к нему незнакомого человека, на вид страхолюдного — роста огромного, лохматый, глаза пронзительные, а лицо изуродованное, ноздри вырваны, на лбу и на щеках клейма выжжены. Знак ведомый: вор, разбойник, каторжник.

— Кто таков? — спросил Емельян строго.

— Афанасий Соколов. Хлопушей кличут.

И объяснил, что из местных он, семья в слободе Берде живет — от Оренбурга семь верст, но прибыл не из дому, а из Оренбурга, где сидел в тюрьме. И не сбежал, нет, а выпустили. Самолично губернатор о том позаботился. Да не задаром. Отплату немалую потребовал: добраться до бунтовщика и подговорить казаков, чтоб схватили самозванца и в губернский город доставили, к губернатору фон Рейнсдорпу прямо в руки. Вот и пакеты секретные послал, казакам для подговорки. И за всю эту злодейскую измену обещано Хлопуше прощение прегрешений и побегов из Сибири с каторги. Только посулил Хлопуша губернатору, что выполнит хитрецкий замысел, а на деле решил иначе. И явился к новоявленному царю — служить ему верой-правдою.

Пугачев засмеялся:

— Это ты ловко смерекал! Так не так, а уж этак

будет. Обещанного три года ждут, а ближняя соломка лучше дальнего сена.

Хлопуша обиделся:

— Не об себе пекусь. По слухам, вы о сирых стараетесь. Манифест сделали, чтоб содержащихся в тюрьмах, ну и прочих в невольности людей выпущали. Вот за то и хочу с вами.

Овчинников, оказавшийся тут, выразил сомнение:

— Не верь ему, государь, плут он.

А Шигаев вдруг заступился:

— Нет, ваше величество, знаю я этого человека. Меня за прошлый бунт в оренбургском каземате держали, заодно с ним, Хлопушей, сидел. Положиться на него можно.

— Уйдет, уйдет, — настаивал Овчинников. — И что здесь увидит, тамо скажет, притом наших людей станет подговаривать.

Пугачев еще раз внимательно взглянул на Хлопушу.

— Ладно! Пусть бежит да и скажет, худого в том немного. И одним человеком армия пуста не будет. Держи, братушка!

Он протянул Хлопуше полтинник. Наперекор Овчинникову так поступил. Хотя и войсковой атаман Овчинников, а что про бедных людей знает? Казак состоятельный, лишь притеснением казачьих привилегий обеспокоенный. А Емельян, по каталажкам мыкаясь, изрядно повидал таких, как Хлопуша, — колодники несчастные, иные ни за что загубленные, обречены до конца дней носить клеймо позорное от власти.

Хлопуша рассказал, что Рейндопка-губернатор собирал в Оренбурге военный совет. Теперь спешно вокруг крепости ров углубляет, бастионы усиливает, пушки чистит, мосты через Сакмару сносит. Симонов

с Яика прислал майора Наумова с солдатами. А послушных казаков привел Мартемьян Бородин.

— У нас брат Мартюшкин — Григорий — хорунжим, — напомнил Зарубин.

Пугачев кивнул, вспомнив: с командой Витошнова под Яиком перекинулся Григорий Бородин, брат яицкого старшины, смертного врага всех войсковых. Многие теперь так перемешались: кто здесь, кто в послушных. Только оренбургские-то власти и в послушных сомневаются. Хлопуша рассказал, что берут под ружье всех надежных городских жителей. А о «Петре III» объявление сделано — приказано всем попам с амвонов читать, де, самозванец он. Про это, должно статься, и в пакетах изложено.

— Ладно, ступай, — отпустил Пугачев Хлопушу.

Но приказал все-таки для осторожки следить за ним. Потом велел распечатать пакеты. В них оказались бумаги, которыми губернатор Рейнсдорп вознамерился перетянуть повстанцев на свою сторону. И объявление про самозванца тоже.

— «Известно учинилось, — начал оглашать Почиталин, — что о злодействующем с яицкой стороны в здешних обывателях по легкомыслию некоторых разгласителей носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть».

— Мудрено закручено, — покачал головой Емельян.

— «Но он злодействующий, — продолжал Почиталин, — в самом деле беглый донской казак Емельян Пугачев, который за его злодейства наказан кнутом с поставлением на лице его знаков, но чтоб он в том познан не был, для того пред предводительствуемыми им никогда шапки не снимает».

— Так врет же Рейндопка! — воскликнул Пугачев. — У него, знать, только и дела — людей бить да ноздри рвать. Разве есть у меня на лице знаки? Вот

я и шапку снял! Видите, все ложно. Значит, не про меня писано. А еще обещает пять сотен рублей тому, кто сдаст меня ему живым. Мало ценит царя дурак Рейндопка!

Окружающие смеялись. А Пугачев радовался: своей глупостью губернатор лишь укреплял веру в «Петра III»!

Но как остался один, глубоко задумался Емельян. Подсылают враги лазутчиков с черными замыслами. И Оренбург защищать готовятся крепко. Про самозванца вопят истошно, голову его покупают. Все это на то указует, что ненатужной победы впредь ожидать не приходится. До сих пор сдавались крепости сами, да и крепостью ли назовешь малое жительство за оградой бревенчатой, а то и просто из плетня сооруженный редут, в коем не редкость были пушки, травой заросшие? Теперь же перед восставшими истинная твердыня: широкий ров, мощный вал, стены плитным камнем выложены, на двенадцати бастионах семьдесят пушек. А у Пугачева пушек всего двадцать! И ружей маловато — у башкирцев лишь луки, у иных из татар ножи да копья. Как с такой армией к грозной крепости подступиться?

— Пиши наново манифест, Ванюшка! — приказал Емельян наутро Почиталину. — «Оставя принужденное послушание к неверным командирам вашим... придите ко мне...»

Не в твердой он был надежде, что поможет на сей раз обольстительная бумага, но испытка не пытка. И когда двинул войско на город, уже в самой близости его окружая, послал вперед казака. Казак-храбрец защемил листок в палке, подскакал впритык к стене, воткнул ту палку в землю под вражескими пулями. Через некоторое время из ворот крепости выехал всадник, забрал палку с листком. Но вскорости начали

крепостные пушки палить по-страшному — такой ответ давали оренбургские власти самозванцу на его увещевание.

Тогда повел Пугачев армию на штурм и занял Егорьевскую слободу, дома которой лепились вплотную к оренбургским стенам. Однако сильная артиллерийская пальба заставила повстанцев отойти прочь. Остановились в трех верстах, на виду у города.

Ночью во многих местах загорелась Егорьевская слобода. Подожгли ее оренбургские защитники, чтобы лишить нападающих удобных подходов к городу. А с рассветом сами устроили вылазку: из городских ворот вышло полторы тысячи солдат под командой майора Наумова. Пугачев двинул против них всю свою армию. Оробевшие наумовские солдаты убрались восвояси. Весь день не смолкала обоюдная перестрелка.

Смрадно догорала Егорьевская слобода. Черный дым застилал крепость, повисая вместе с низкими осенними тучами над полем, где расположились повстанцы.

На третий день Пугачев снова затеял атаку — уже со стороны Менового двора, построенного на низинной степной стороне Яика, в двух верстах от крепости. Каждое лето здесь шел оживленный торг с азиатскими купцами, были поставлены триста купеческих лавок и амбары, работала пограничная таможня. На защиту Менового двора оренбургские власти вторично выпустили майора Наумова — уже с двумя тысячами солдат и казаков. Под их нажимом Пугачев отступил, но и Наумов, напуганный тем, что казаки его колебались и могли вот-вот перейти на сторону восставших, поспешил ретироваться.

— Ладно, — сказал Пугачев, распалившись. — Мало им штыка, так дадим приклада.

И решил готовить генеральный приступ.

К этому времени изрядно прибавилось у него силы. Приклонились калмыки, черемисы, башкиры. Явился и башкирский старшина Кинзя Арсланов. Он, как и Идорка Байменов, пришел со своим взрослым сыном, да еще привел пятьсот конников. С Кинзей Емельян встретился по-особому. Знал: как примет «царя» этот знатный башкирец, так станет почитать и вся Башкирская сторона. И не посчитал за труд разыграть представление.

— А что, Кинзя, узнаешь ли ты меня? — спросил он, прищуриваясь, и, приметя, что молчит Арсланов, поспешил подсказать: — Аль не помнишь, как я тебе кармазину дарил на кафтан? Будь у тебя хоть лоскуток из того сукна цел, так я его узнаю...

Еще помолчал Кинзя. Никогда ничего не дарил ему чернобородый «ампиратор». Но башкирец сделал вид, будто вспомнил:

— Да, ваше величество, теперь помню.

Глаза в глаза поглядели при этом друг на друга «царь-батюшка» и новый «подданный». Похоже это было на то, как принимал Емельяна в давнем открытом разговоре Зарубин-Чика. Все понял умный башкирец, которого не зря по Ногайской дороге звали Обызом — Учителем. Надежным сподвижником стал для Пугачева отныне Кинзя Арсланов.

На другой день были разосланы ногайским старшинам «царевы» указы. Но Пугачеву этого теперь казалось мало. И во все края отправил он не только нарочных с бумагами, но и людей твердых, исправных в поручениях. Вверх по Яику поехал Шигаев, к калмыкам Дмитрий Лысов, к башкирцам Идорка Байменов. Послал и Арсланов своего сына Силявчина. А Зарубин-Чика присоветовал пустить посланца на уральские заводы. В тех местах долго работал Хлопуша. И позвали Хлопушу. Доверил Пугачев этому страховидному

человеку наиважнецкое дело — идти на Авзяно-Петровский завод. Напутствовал так:

— Объявишь работным людям мой указ, а как увидишь, что будут согласны служить, осмотри, есть ли мастера и мортиры, и когда есть, вели лить.

Под стенами оренбургскими в эти дни стояло временное затишье. Стреляли из пушек, из ружей, но сильных сшибок не было. Среди повстанцев находились смельчаки, — разъезжая по степи группами, пробирались к самой крепости и, повесив шапки на копья-рогатки, воткнутые в землю, кричали стоящим на стене караульщикам:

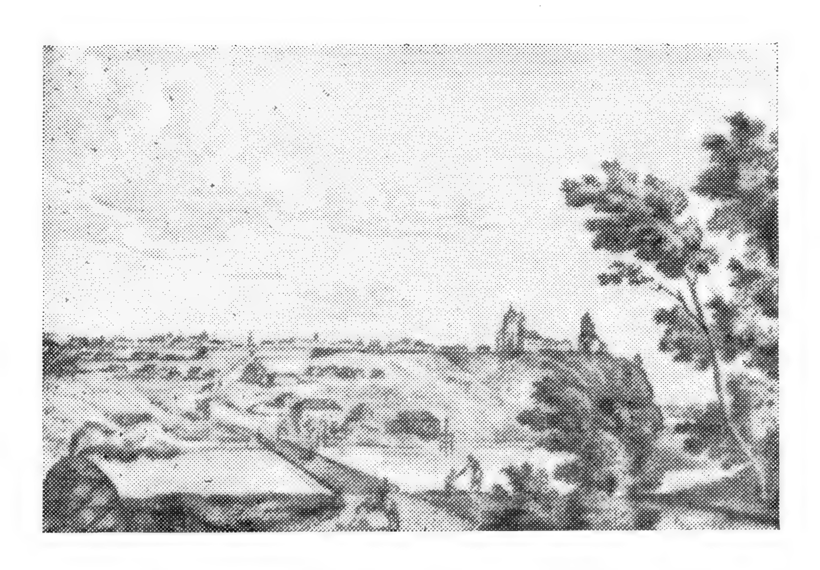
— Эй, господа казаки! Пора вам одуматься! Выдайте нам Мартюшку Бородина!

С крепостного вала отвечали бранью, открывали огонь. Озорники со смехом удирали, пришпорив коней.

12 октября Рейнсдорп попытался еще раз отогнать осаждающих. В девять часов утра майор Наумов вышел с двухтысячным корпусом. Затеялся бой. С обеих сторон непрерывно гремела артиллерия. Пугачев окружил оренбургских солдат. После трехчасового жаркого сражения Наумову пришлось отступить.

Это была последняя попытка оренбургских властей снять осаду.

Внезапно похолодало. Выпал обильный снег. На Яике появились ледяные закраины. Пугачев жил в калмыцкой палатке-кибитке, войска же его мерзли среди голой степи под открытым небом, укрываясь от пронизывающего ветра в редком кустарнике. Поэтому 18 октября Пугачев объявил приказ: отойти от Яика к Маячной горе и разбить лагерь вблизи Бердинской слободы. Маячная гора укреплялась рвами и валами, на сооруженных батареях ставились пушки. Из досок строились подвижные башни, — стоя за ними, было безопаснее стрелять. С верхнего Яика вернулся Шига-



Вид города Оренбурга. С гравюры XVIII в.

ев, привел сто человек казаков, добавилось еще несколько пушек. Умножились отряды башкирцев и калмыков.

И наконец наступил день, когда Пугачев сказал:

— Поутру начнем решительный приступ!

Второго ноября по сигналу вестовой пушки повстанцы принялись палить из всех орудий. Часть войск Пугачев направил прямо к оренбургским воротам, а сам — с более многочисленной ратью — начал наступать через выжженную Егорьевскую слободу. Закравшись со стороны реки в погреба обгоревшего предместья, повстанцы стреляли почти у самого вала из ружей и луков. Оренбургские власти перебросили на эту сторону вала артиллерию. Майор Наумов во гла-

ве полевой команды бросился отгонять осаждающих. Под орудийным огнем Пугачеву пришлось отступить. Ночью Пугачев приказал Чумакову поставить две батареи — одну на паперти Егорьевской церкви, другую на колокольне. Но и оренбургские защитники переправили часть пушек через Яик и теперь били повстанцев с тыла.

Снова укрываясь в погребах слободы, осаждающие целый день вели бой при жгучем морозе. Попеременно грелись в единственной сохранившейся в предместье избе, которую топили. Пушки грохотали непрерывно. Вдруг Пугачев почуял — огонь поубавился. Вызванный Чумаков объяснил: не хватает ядер.

— Вели рубить чугунные котлы! — приказал Пугачев. — Палите черепьем.

Бой продолжался. Но к ночи Пугачев опять отступил.

— Все, детушки, — сказал он, собрав совещателей. — Крепка стена оренбургская. Что дальше делать будем?

— А может, и оставить нам эту стену? — подал голос Чика. — Теперича, может, самый срок на Москву идти, а?

Он спросил — и все вокруг зашумели.

— Да ты что! — сердито возразил Овчинников. — Сызнова начинаешь?

— И то истинно! — поддержал войскового атамана Шигаев. — Урядили Оренбург брать, а он опять про Москву!

— Зело докучлив, — проворчал Иван Творогов.

А Дмитрий Лысов захихикал, тряся козлиной бороденкой:

— Из таковских — с плеч стряхни, на руки лезет.

— А ну, будя! — крикнул Емельян.

Давно приметил он, что степенные яицкие полков-

ники недолюбливают горячего Зарубина-Чику. Да и несдержанного в речах Тимоху Мясникова тоже. Были Мясников с Зарубиным в числе первых Емельяновых сговорщиков, которые приняли его еще на Таловом умете. Но мало-помалу стало так, что окружили «государя» новые слуги — не без стараний того же Творогова. Да и то правда — нет у них осмотрительной башковитости, как, к примеру, у Шигаева. Худых советов от Максима Емельян не слыхивал, все по-разумному смекает. Вот само собой и оказался при решении дел молодой, неопытный Мясников позади, а тот же Шигаев, скажем, заделался «при дворе Петра Федоровича» главенствующей персоной. Да против него никто и не спорит.

А о Москве вот спор давний. Многие из яицких за Оренбург держатся. Еще когда Татищеву крепость взяли, вопрос возник: куда идти? Из Татищевой две дороги выводят — одна на север, к Волге, на Самару и Москву, стало быть, а другая, восточная, — прямехонько на Оренбург. Зарубин с Подуровым, да и Мясников, тогда еще уговаривали на Самару повернуть, к Москве. Но казачьи вершители и в ту пору непреклонно противились: «Нет, Оренбург брать будем!»

Пугачеву зарубинский замысел — на Москву идти — милее был. Но не отважился он настоять, чтоб казаки от Яика оторвались. Неведомо, наберется ли в России изрядная подмога людьми, здесь же, почитай, в каждой крепости, в каждом хуторе местные жители приклоняются. И без великих колебаний согласился Емельян из Татищевой выступить по Оренбургской дороге. Но вот не одолели Оренбург с ходу. И снова промеж казаков споры затеялись: куда идти?

Только сейчас и башкирцы с калмыками за Оренбург ухватились. Для них это «злой город», наиглавнейший источник всех напастей, отсюда любая бумага

идет, которая лишает их и земель, и скота. Поэтому твердо стоят они на одном:

— Сделай так, осударь надежный, чтоб губернии не было, чтоб неподвластные ей мы были. Отдай нам Оренбург, а прочие места уж противу тебя потом не устоят.

И прислушался Пугачев ко всем этим речам. Издевку казаков над Зарубиным-Чикой пресек, а о походе на Москву и сейчас не высказался.

— Быть по-вашему, — кивнул он сторонникам осады. — Одначе не стану я больше людей тратить, а выморю город мором.

И тут же распорядился: готовить лагерь к переезду в слободу Берду, на «зимние фатеры»! Калмыки и башкиры в кибитках остались, казакам же от клящих морозов надо было в подходящем жилье спасаться. Правда, в Берде лишь двести домов, и все казаки не смогли в них разместиться. Начали устраиваться кто как — приспосабливать бани, амбарушки, строить шалаши, рыть землянки.

Под «государев дворец» отвели наилучший дом. Горницу оклеили золоченой бумагой, в красный угол вдвинули трон-кресло, над троном повесили портрет «сына» Павла — наследника престола. Для обслуги «императора» Шигаев назначил главным дежурным Якима Давилина, а на крыльце установил стражу — двадцать отборных казаков. Двух стряпух на кухню послал. Пугачев осмотрел «царский двор», одобрил.

Но не почивать в безделии вознамерился Емельян! И не для отдохновения расположил в слободе войско. Люди, число коих растет, требуют воинской выучки. И не ради одной лишь оренбургской крепости. Вслед за овладением губернским городом мыслил Пугачев, как и Зарубин, как Подуров с Арслановым, продолжить путь на Самару и на Москву, а потом и на сто-

личный Питер! Вот почему в тот же день, когда разрешил казакам перебираться в Берду, учинил он еще два «императорских» повеления.

Первое — грамотеям: чтоб написали именной указ в Оренбург Рейнсдорпу, всем господам и всякого звания людям. «Выдите вы из града вон... Никто вас от нашей сильная руки защитить не может». Грозные требования посылал, чтоб в страхе держались... Пусть не думают: ежели отходит в Берду, так, значит, тягость осады снимает.

Второе повеление было куда важнее и затрагивало всех советчиков. Призвал он их к себе и объявил, что отныне учреждает Военную коллегию. А на попечение оной возложил все хлопоты по армии — указы, жалобы, судейство, снаряжение.

Прослышав о том, казаки обрадовались. Но, когда приказал Пугачев иным из них стать судьями коллегии, вздумали отговариваться: Витошнов старостью, Шигаев с Твороговым должностями — дескать, уже имеют назначения: один над провиантом стоит, Творогов — илецким полком командует.

Творогов с Шигаевым и надоумили Емельяна эту самую коллегию учредить. Хотел Емельян сделать Творогова главным судьей, так тот наперед себя Витошнова выдвинул: он старший по возрасту. А когда Пугачев сказал: ну, так быть тебе над секретарями верховодом, канцелярией править, Творогов и тут отговорку нашел — грамоты маловато. Что за человек! И делом заправлять норовит, и в тени остаться! Емельян рассерчал:

— Другие вовсе неграмотные! И есть кому написать, а тебе труд невелик — знай подписывай.

Творогов заикнулся было еще что-то сказать, но Пугачев голос повысил, запретил перечить, приказал делать, как он велит.

Со вздохом поклонился Творогов, показывая, как без охоты соглашается. Но к делу приступил тут же так рьяно, будто только и ждал, когда сможет по-своему крутить. И в секретари коллегии сразу предложил знакомого ему илецкого жителя Горшкова, а одним из судей определил шигаевского знакомого Скобычкина.

Не отказал Пугачев в назначении этих людей на должности — Творогову и Шигаеву виднее, с кем дела вершить, — только когда утвердилось все, опять увидел: и в коллегии оказалось много новых казаков, а те, кто прежде с ним рядом стоял, вроде ненароком в сторону отодвинуты. Ни Зарубин-Чика, к примеру, ни Мясников в коллегию не попали.

— А где Чика? — спросил Пугачев и велел кликнуть, полагая, что надо поставить и его на какую-нибудь должность.

Творогов словно учуял это и сказал, умаляя зарубинские доблести:

— Но он токмо хорунжий, государь.

— А я захочу, так и графом будет! — отрубил Пугачев.

Творогов с обходительной уступчивостью начал кланяться:

— Это уж как изволите, ваше величество.

Зарубин явился, но в тот же час ввели к «царю» приезжего татарина. Встревоженный Овчинников сказал:

— Выслушай его наискорейше, государь, сурьезное известие.

Робея перед «императором», татарин поведал, что прислали его из деревни Сармановой, где узнали о приближении по Казанской дороге правительственного войска. Из самого Петербурга на усмирение мятежников под Оренбург идет генерал-майор Кар. Солдат у него полторы тысячи, пушек пять.





Недосуг сделалось Пугачеву заниматься дальше коллегией — слух о генерале и впрямь наисерьезнейший. Приказал он Овчинникову без промедления забрать под свое начало пятьсот казаков с шестью пушками и выступить навстречу тому генералу.

Взглянув же на Зарубина, добавил:

— А в помощники тебе, атаман, определяю Чику. Сообща все решайте. Будет у тебя фельдмаршалом!

И победно посмотрел на Творогова, да и на всех остальных яицких — не захотели простого хорунжего в коллегию принять, так вот вам — получайте фельдмаршала, графа Чернышева! Таковой президент в Петербургской военной коллегии сидит. А теперь, значит, пусть и у них будет!

К вечеру Овчинников и Зарубин выступили из Берды.

А еще немного спустя стало известно, что в помощь генерал-майору Кару направлены правительственные войска и из других мест — с севера по Самарской линии движется с трехтысячным отрядом симбирский комендант полковник по фамилии тоже Чернышев, с востока из Орской крепости идет бригадир Корф — у него две с половиной тысячи войска при 22 орудиях. Из сибирской стороны — генерал Де-Колонг. И все они должны соединиться под Оренбургом, чтобы в прах разбить Пугачева.

Выходит, пока целый месяц без толку наскакивали повстанцы на крепкие оренбургские стены, царица Катька в Питере времени даром не теряла. И сколотила против них изрядную силу.

— Ну ничего. Попадутся сами нам в руки, — сказал Пугачев.

Он верил — не зря молвится: либо в стремя ногой, либо в пень головой. А смелого и смерть бежит, и враг дрожит.

ГЛАВА 5. «ВАЖНА СМЕЛОСТЬ, ДА НУЖНА И УМЕЛОСТЬ»

Первые сведения о восстании яицких казаков под предводительством Емельяна Пугачева поступили в Петербургский дворец 14 октября. Когда Екатерине доложили о новом бунте, она разгневалась: оренбургский губернатор фон Рейнсдорп протянул целый месяц, прежде чем удосужился поставить императрицу в известность о том, что творится в ее владениях.

В тот же день она собственноручно написала указ, требуя незамедлительно разогнать скопище «разбойников и грабителей», кои проказят потому, что «с испокон веков такова их натура». Главнокомандующим над войсками, которые тут же направлялись против Пугачева, назначался командир Санкт-Петербургского легиона генерал-майор Кар.

«Господин Оренбургский губернатор Рейнсдорп!

По случаю мятежа у вас в губернии от бездельника казака Пугачева заблагорассудили мы послать на место г. генерал-майора Кара, которому вы всякое вспоможение не оставите показать при всяком случае.

Екатерина».

На следующий день рано утром императрица собрала экстренный Государственный совет. Она провела его сама и подписала манифест, с которым генерал-майор был обязан ознакомить всех жителей Оренбургской губернии. «Объявляем всем, до кого сие принадлежит» — так начинался тот манифест, и это означало, что жителям Петербурга, Москвы и вообще России знать о волнениях на Яике еще «не принадлежало».

Из донесения английского посланника в России Ричарда Оакса в Лондон 23 октября 1773 года:

«Хотя здешний двор усиливается сохранить это в глубочайшей тайне, тем не менее повсюду стало известно, что один казак воспользовался неудоволь-

ствием Оренбургского края для того, чтобы выдать себя за покойного императора Петра III, и что число последователей этого претендента так велико, что произвело опасное восстание этих губерний».

Принимая срочные меры по ликвидации очередного бунта в стране, Екатерина в то же время считала, что новое яицкое возмущение ничем не отличается от предыдущих и что весь этот «глупый фарс», как она выражалась, очень скоро окончится.

Столь же легковесно был настроен и генерал Кар. Полный решимости исполнить волю императрицы как можно быстрее, он без задержки выехал из Петербурга.

Из донесения генерал-майора Кара с дороги к Оренбургу президенту Петербургской военной коллегии графу З. Г. Чернышеву:

«Опасаюсь только, чтобы сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя оных, по тем же самым местам, отколь они появились».

Отправленные Пугачевым навстречу правительственным войскам Овчинников и Зарубин столкнулись с генералом Каром у деревни Юзеевки 8 ноября. Самонадеянный генерал был в прекрасном расположении духа. Накануне ему донесли, что с востока в стан пугачевцев движется какая-то толпа бунтовщиков. Это был отряд Хлопуши, который возвращался с Авзяно-Петровского завода. Кар решил устроить засаду. Но просчитался. Зарубин и Овчинников предупредили Хлопушу об опасности и стали действовать сообща.

Утром 8 ноября, выйдя из Юзеевки, Кар обнаружил, что окружен: Зарубин и Овчинников наступали на него с двух противоположных сторон. Кар попытался прорваться к полуторатысячному отряду башкир, который под командой князя Уракова был прислан ему в помощь и стоял недалеко от Юзеевки. Однако Зарубин

с Овчинниковым и тут опередили генерала — успели уговорить башкир перейти на их сторону. Молодой джигит Салават выступил против правительственных войск. Князь Ураков с двумя старшинами бежал.

Кар отступил. Его преследовали. Перевозя пушки с одной горы на другую, повстанцы непрерывно били метким огнем по рядам бегущих врагов. Десять часов продолжалось это преследование! 17 верст бежал Кар от народного войска, забыв о том, как он опасался, не побегут ли от него они...

Из рапорта генерал-майора Кара графу З. Г. Чернышеву:

«Сии злодеи, как ветер по степи рассеиваются, а артиллерией своею чрезвычайно вредят... И стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно».

Емельян встретил победителей в Берде очень довольный.

— Ну, гуторьте, детушки, что сладили.

Овчинников расписал, как прогнали генерала Кара.

— А для чего ж вы его упустили? — спросил Пугачев.

— Да картузов-зарядов у нас не хватило, — ответил Овчинников.

Зарубин-Чика засмеялся, сверкнув цыганистыми глазами:

— Все одно прижгли ему пятки.

Емельян махнул рукой:

— Ладно, пущай тикает теперича до самого Санкт-Петербурга.

Зарубин добавил:

— Башкирские джигиты премного в том подмогли. Особливо Салават.

— Кто такой? — спросил Пугачев у Арсланова.

Тот объяснил, что Салават Юлаев, старшины Си-

бирской дороги сын, молодой еще, двадцать лет всего, но у всех башкирцев в большом почете. Когда его отец уходил в польский поход, Салават вместо него старшиной оставался и справился — умный, грамоте знает.

Пугачев велел позвать Салавата. Маленький ростом, крепкий, черноволосый, с бойкими черными глазами и речью бойкой понравился он Емельяну. На левой щеке — рубец, видать, храбрый джигит! Поблагодарил его Емельян за выручку хорошую и пожаловал высоким чином — сделал походным полковником. Ежели у башкирцев Салават в двадцать лет старшиной смог быть, то и у него в полковниках выдюжит.

— Будешь при Кинзе служить!

Кинзя сказал:

— Пойдет опять в Башкирию людей собирать.

— Люди нам завсегда нужны, — подтвердил Пугачев.

Зарубин-Чика снова напомнил:

— Афанасий Соколов изрядно работных привел.

Позвали и Хлопушу. Он рассказал, как исполнил порученное. Указом к работным людям Авзяно-Петровского завода «император Петр III» запрашивал две мортиры с бомбами. Заводские, выслушав этот указ, закричали: «Рады государю служить!» — и тут же согласились лить ядра. А пятьсот человек, связав своих приказчиков, последовали за Хлопушей в пугачевский стан. И привез Хлопуша не две пушки, как наказано, а шесть. И к ним — шесть пудов ядер. Да еще много казны: серебряной посуды несколько пудов и денег семь тысяч, из коих две тысячи раздал на месте впавшим в крайнюю нужду приписным крестьянам.

— Молодец, братушка, — похвалил Пугачев, — все сделал отменно, проворный ты человек, жалую и тебя за то чином — будешь над всеми работными людьми полковником!

— Какой из меня полковник?

— Служи! — утвердил Пугачев. — Вот ежели украдешь что — за алтын удавлю. А так — служи!

Потом он вспомнил о взятых в плен офицерах.

Казаки его по-прежнему на дворян-пленных злобились. И того сержанта, которого Емельян в самом начале от расправы спас, все же прикончили: утопили в реке при взятии одной из крепостей. Кто учинил это, теперь не узнаешь. Дмитрий Лысов об утопленном докладывал с ухмылочкой: пошел-де сержантик к своей матушке вниз по Яику. «Да и пущай его идет, — добавил он, — зачем нам волков-то приголубливать!» Может, Митька и сотворил погибель сержанту? Да еще в пику Емельяну: вроде ты хоша и государь, а делаем по-нашему!..

Конечно, Емельян волков не приголубливает, а смотрит: какая есть от человека польза. В обученных людях большая нехватка. Потому и взял теперь Пугачев за правило: всякого пленного дворянина самолично выспрашивать и определять.

Привели и сейчас к нему офицеров. Один из них, гренадерский поручик Шванович, сказал, что разумеет читать и писать по-французски. Емельян оживился: толмач-многоязычник!

— Добре! Есаулом будешь. Пиши немедля Рейндорпке манифест.

Так, радуясь победе над Каром, Пугачев занимался делами: определял по местам новых людей. Но тут прискакал в Берду юнец с Чернореченской крепости и крикнул, что из-под Татищевой движется еще одно правительственное войско — пробивается в Оренбург: это идет на соединение с Каром полковник Чернышев. Только припоздал малость незадачливый полковник — появился вблизи, когда Кара давно след простыл.

Не мешкая, Емельян кликнул своих полковников, вскочил на коня и с двухтысячной толпой пошел навстречу Чернышеву. В четырех верстах от Оренбурга, при урочище Маяк, приказал он выставить артиллерию. Утром 13 ноября корпус Чернышева направился на переправу через Сакмару. Когда он приблизился к Маячной горе, повстанцы открыли сильный огонь. И окружили правительственных солдат. Среди регулярных частей началось замешательство, и потерпели они тут страшное разгромление прямо на виду у оренбургских жителей, которые смотрели на бой с городского вала, однако помощь Чернышеву оказать боялись.

Забрал Пугачев в плен всех чернышевских солдат, 33 офицера и все пушки. Сам полковник хотел сбежать, надел серый кафтан, уселся на повозку конем управлять. Но Яким Давилин приметил: непохож возница на простого мужика — больно руки белые, — приступил с расспросами: «Что за человек?» — «Ямщик», — отвечал Чернышев. А солдаты правду не скрыли. Полковника привели к Емельяну.

— Для чего ж вы осмелились вооружиться против меня? — начал корить Емельян. — Ведь известно, что я государь. Ну, на солдат пенять нечего, они люди простые, а вы? Офицеры, должны знать! А ты еще утаился. Полковник мужиком вырядился. Простых-то я прощу, казаками сделаю, а вот тебя, да и всех вас, дворян, повесить велю, чтоб знали слово государево!

Победа над вторым екатерининским воякой вызвала у повстанцев новый прилив ликования. Но, ликуя, пооплошали. В тот же день к Оренбургу с востока подошел бригадир Корф. Емельяну донесли об этом слишком поздно. Когда он поднял казаков в седло, то увидел, что собралось их совсем мало. И сам себя на-

чал винить: обольстясь победой, не ко времени разрешил устроить веселый обед с вином.

Напасть на колонну все же напали, а разбить сил не хватило. Оренбургские защитники выслали на сей раз подмогу и прикрыли бригадира. Он без потерь вошел в город.

— Вот так-то, детушки, — сказал Емельян. — Важна смелость, да нужна и умелость. Проворонили Корфа.

Этим сражением 14 ноября бесславно закончилась первая карательная экспедиция, направленная Екатериной против Пугачева.

Опозоренный Кар, бросив в Бугульме вверенные ему войска на своего помощника генерала Фреймана, к концу ноября вернулся в Москву. Он хотел явиться с объяснениями к московскому генерал-губернатору князю Волконскому, но тот его не принял. И никакие ссылки Кара на многочисленные болезни — лихорадку, лом в костях, фистулу, горячку, из-за которых он якобы оставил свой пост, его не спасли. Рассвирепевшая царица приказала Военной коллегии немедленно отставить Кара от службы.

Из указа Военной коллегии об увольнении Кара:

«Минувшего 30-го ноября ее Императорское Величество, усмотрев из рапортов отправленного отсюда для некоторых поручений... экспедиции генерал-майора Кара, что он самовольно от оной удалился, не находит прочности в нем к ее службе и высочайше указать соизволила Военной коллегии его уволить и дать абшид, почему он из воинского стата и списка и выключен».

Когда Кара назначали усмирителем пугачевского восстания, то рассчитывали на жестокость его характера, которую он проявил в свое время в Польше, при исполнении предписаний начальства. Однако жестокостью, как известно, не восполняется недостаток

ума или храбрости. Кар не оправдал надежд императрицы. И за это поплатился карьерой. Примечателен в его дальнейшей судьбе один штрих. Доживая жизнь в своем поместье, в начале царствования Александра I Кар был убит крепостными крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью...

28 ноября заседал Государственный совет. Президент Военной коллегии граф З. Г. Чернышев официально объявил: «Посылаются к Оренбургу новые войска в подкрепление прежде посланным». Главнокомандующим этими войсками взамен Кара назначался сорокачетырехлетний генерал-аншеф А. И. Бибиков. Выбор пал на него не случайно. Образованный, хитрый, энергичный администратор и военный с солидным боевым опытом, он был одним из верных екатерининских служак. Десять лет назад он усмирял восставших заводских крестьян на Урале. В 1767 году, сопровождая Екатерину во время ее путешествия по Волге, Бибиков удостоился «высокой чести» принять императрицу в собственном костромском имении. Потом как депутат от костромского дворянства был председателем законодательной комиссии по составлению Нового уложения. А за два года до пугачевских событий А. И. Бибиков получил пост главнокомандующего в Польше и, с точки зрения самодержавной правительницы, блестяще справился там с задачей усмирения польских патриотов.

Теперь ему предстояло воевать с народом в самой России. Ведь события, которые развертывались внутри страны, показывали, что выступление Пугачева далеко не «глупый фарс». Оренбургская смута выходила за рамки обычной «казацкой истории».

Из рапорта командующего войсками на Сибирской линии генерала Де-Колонга — А. И. Бибикову 14 декабря 1773 года:

«Башкирский народ в Оренбургской губернии обитающий, весь генерально... взбунтовался. Разъезжая большими партиями, не только по линии состоящие редуты выжигают... на крепости набеги делают, но уже и внутри Исетской провинции несколько жительств выжгли и немалое число людей побили...»

Из записок А. И. Бибикова во время пребывания в Москве на пути в Казань 13 декабря 1773 года:

«...Нашел обширную сию столицу в страхе и унынии. Холопи и фабричные и вся многочисленная чернь московская, шатаясь по улицам, явно оказывала буйственное свое расположение и приверженность к самозванцу, который, по словам их, несет им желаемую ими свободу».

Из донесения английского посла Ричарда Оакса в Лондон:

«Все касающееся до возмущения Оренбургского края по возможности еще сохраняется в тайне, но известно, что вести, получаемые оттуда, все более и более неблагоприятны».

Из письма Екатерины московскому генерал-губернатору князю М. Н. Волконскому:

«В несчастии сем можно почесть за счастие, что они, канальи, привязались два месяца целых к Оренбургу, а не далее куда пошли».

ГЛАВА 6. «ПОЙТИ БЫ КУДА ДАЛЕЕ!»

Победа над Каром, пленение Чернышева, удачный отпор оренбургским оборонителям убедили Емельяна: армия его окрепла.

Но особую твердость духа придавало ему то, что повсюду с превеликой радостью пополнял его войско простой люд.

Не случайно на Авзяно-Петровском заводе Хлопуша легко собрал полутысячную команду: во многих заводских местах работные люди сами, без подсказки схватывали приказчиков. И по-прежнему огромными толпами продолжали стекаться в Берду нерусские народности. А в деревнях поднимались крестьяне. В Пополутовой

даже казнили помещицу. Имущество ее поделили меж собой, трех же малолетних девчонок отдали на прокорм миру с тем, чтоб впоследок и замуж их выдать за крестьян. А от крепостных помещика Карамзина явилась депутация.

— Зачем прибыли, братушки? — спросил Емельян.

— Была у нас в Михайловке ваша казачья команда, надежа-государь, — ответил один из посланцев. — Уж очень чудно казаки-то вещали: на помещиков, дескать, не работайте, податей не платите. Вот старики и сомневаются: подлинно ли так?

— Подлинно! — подтвердил Емельян. И тут же приказал сочинить для михайловцев указ, чтоб не сомневались: «Крестьяне, помещиков своих не слушайте, ибо дается вам воля!»

А когда уехали михайловцы, надумал он выпустить указ разъяснительный для всех «верноподданных Российской империи». До сих пор возвещал то казакам, то башкирцам или другим народностям и работным людям — всякого звания жителям по отдельности, — а теперь решил завлечь всех разом. Дабы узнали крестьяне про волю и не сомневались вроде михайловцев, а всюду помещиков да вотчинников, как сущих преступников закона и общего покоя, злодеев и противников, лишали жизни. Дома же и все их имение брали себе в награждение.

Из указа Емельяна Пугачева от 1 декабря 1773 года ко всем верноподданным Российской империи:

«Помещиков имение и богатство, так же яство и питие было крестьянское кошта, тогда было им веселие, а вам отягощение и разорение. А ныне ж я для вас всех един из потерянных объявился... А кто же сей мой милостивый указ получив в свои руки, тот бы тот же час как из городу в город, из жительства в

жительство пересылал и об одном моем чинимом ко всему роду человеческому милосердии объяснял».

Полетел этот манифест по России, и еще дальше разнеслась о Пугачеве слава добрая, наречье хорошее.

Усмотрел Пугачев отныне для себя первейшую заботу в том, чтобы давать помощь приклонившимся к нему, где бы они ни случились. Как с первых дней было заведено направлять во все края верных людей-увещевателей, так затеял теперь Емельян посылать повсюду собирателей войска. И поехал в Башкирию Салават, сын Юлая. А вслед за ним и Канзафар Усаев, мещерякский сотник, который тоже пристал к Емельяну после разгрома Кара. Житель екатеринбургского ведомства Иван Грязнов еще раньше сколотил на Урале отряд из работных людей. Емельян с милостью призвал Грязнова в Берду, тоже нарек полковником и отправил назад на уральские заводы. К северу от Оренбурга на Самарскую линию был отряжен полковник Дмитрий Лысов. А там объявились свои атаманы — калмык Дербетев да бузулукский хуторянин Илья Арапов.

Понимал Емельян, что несподручно воевать без большой артиллерии. И перед николиным днем, призвав к себе Зарубина-Чику, повелел ему ехать на уральские заводы — лить пушки.

Повсюду прибавлялась негаданная сила. Под Уфой вдруг самостийно скопилась толпа — окружили башкирцы нелюбый им город, грозились его взять и с нетерпением ждали от «царя» вспоможения, чтоб вернее сокрушать супротивников.

Нешуточное предприятие — Уфу сломить, центр Башкирии! Емельян сам разумел это, но более убеждал Кинзя: для башкирцев, говорил он, Уфа то же, что Оренбург для казаков яицких — как бельмо на глазу, как заноза в сердце!

Только яицкие свое гнули: «Уфа Уфой, а что же выходит? По дальним углам людей суем, а про свой забыли?» И начали они уламывать Емельяна послать Михайлу Толкачева брать Яицкий городок.

— Ладно, нехай едет Толкачев, — согласился Емельян, поняв, что не уговоришь яицких оторваться от здешних мест.

Но отправит он и под Уфу верного человека! Полковники не хотят, так поедет граф.

Из показания Ивана Никифоровича Зарубина при допросе в сентябре 1774 года:

«Заводские зачали уже лить чугунные пушки, то в то время получил он из Берды повеление от самозванца, чтобы ему, Зарубину, называться графом Чернышевым, и велено ехать под Уфу — принять там команду... которая была из башкирцев и русских, тысяч до 4-х, с коими ему и приказано было подступить под город Уфу. Куда по приезде ту команду он принял и стоял под самою крепостью, и с высланными из города воинскими командами имел он неоднократное сражение, и потом, отступя от города, со своею толпою стоял в селе Чесноковке, в расстоянии от города в 10-ти верстах».

К Берде привязанный, Емельян самолично весь декабрь налаживал армию. Народу скопилось уже двадцать тысяч! Тесно стало в степи вокруг слободы. Но способных к воинскому делу ружейных казаков мало, башкирские и татарские всадники тоже не все исправные, крестьяне же и заводские работные — их за шесть тысяч перевалило! — и вовсе ничего, кроме дубин, не имели.

Выстрелом из вестовой пушки каждое утро начиналась в повстанческом лагере гомонливая жизнь — слу-

жилая выучка. Командиры сводили в полки людей — по пять сотен, под знамена из желтого шелка с изображением Христа, либо Николая Чудотворца. Конники устраивали скачки. Артиллеристы затевали пальбу. Пушек насобирали до ста, а умелых канониров при них опять-таки раз и обчелся. Чтобы хоть по малости научить стрельбе, каждого надо изрядно наставлять. Емельян к тому же задумал приспособить артиллерию для похода по снегу зимой и ставил пушки на бесколесные лафеты, на полозья, а то и просто укладывал в сани, обрубая лафетные «хоботы» и оглобли у зарядных ящиков. Целый день, не смолкая, звенел над лагерем железный перестук молотов — старались в мортирной мастерской кузнецы.

А в «государевой» конюшне под приглядом беглого поселенца Чучкова холили четыре сотни лошадей, со свистом и гиканьем объезжали башкирских скакунов. Почасту бывал здесь и Емельян, нередко и в седло вскакивал, укрощая особо неподатливых стригунков. Любил он лошадей, ценил добротную сбрую на них и джигитовал отлично: в состязаниях и в казацких потехах всечасно выказывался среди прочих соревнователей одним из лучших — на всем скаку продырявливал из ружья набитую сеном кольчугу, попадал в шапку, поднятую на пике, рубил саблей, колол копьем...

Да и где только не успевал он побывать за день! Видели его всюду — в отличку от всех одетого, «по-царски» нарядного, в платье ярком, казацкой донской манеры: штаны из малинового бархата, желтые сафьяновые сапоги. Легкой походкой, в движениях скорый, шагал он проворно со свитой полковников, и Яким Давилин, личный охранник, страж неусыпный, следовал неотступно за его спиной. Все подмечая острым глазом, Емельян на ходу отдавал повеления и щедро одаривал толпу, бросая горстями медные деньги.

А то сидел на троне-кресле, которое выносилось по тому случаю на крыльцо «государева дворца». По бокам становились два казака — один с булавой, другой с серебряным топором в руках, и вершил Емельян делами — принимал гонцов, выслушивал жалобы, судил, миловал.

Военная коллегия тоже работала неустанно. Забота немалая — накормить да напоить многоликую рать! И писали писари указ за указом, а рассыльщики каждодневно отправлялись в разные стороны, дабы свозились в Берду со всей округи и хлеб, и соль, и другой провиант, и денежная казна. Пред окнами шигаевского жилья — а жил он в одной избе с Давилиным — стояли винные бочки. Строго следили и Главный словесный судья, и сам Пугачев за тем, чтоб соблюдался порядок в расходовании спиртного — не допускали ни гульбищ, ни баловства. И никому обид чинить было непозволительно!

Обо всем Военная коллегия давала наставления командирам — о покорении народа «Петру Третьему, о доставлении в Берду продовольствия, о разграблении господских пожитков, об отобрании в крепостях и заводах пушек и пороху». Подписывали повеления от имени «императора» Творогов с Почиталиным и секретарь Максим Горшков, а Емельян, как всегда для форсу подержав те бумаги перед собой, с важностью разрешал Творогову: «Теперича отсылай».

Так проходили в трудах дни, но и ночью, после того, как вестовая пушка сигналила отход ко сну и в лагере устанавливалась тишина, можно было увидеть «государя» бодрствующим: пешком, а иногда в седле, проверял он караулы. Берду окружал деревянный заплот, имелись и рогатки, по углам батареи, за слободой у Сакмары застава из двух сотен казаков, однако могли пробраться лазутчики из Оренбурга, ежели не смотреть в



Печать «Государственной Военной коллегии».

оба. И скользили черными тенями по заснеженной степи вокруг Берды конные дозоры, звонко перекликались в холодном безмолвии зимней ночи:

— Эй-эй-эй, кто там?

В ответ же, как отзыв, звучало:

— Казаки!

В праздники Пугачев любил отдыхать у друзей-татар в Сеитовой слободе.

Над шумным многолюдством Каргалы висел колокольный перезвон, но Емельян в церковь не захаживал, а гулял с песенниками по улицам, особливо любя бодрящую дух припевку:

Ходи прямо, гляди браво!
Говори, что вольны мы!

Не то в жарко натопленной избе слушал, как при застолье игрывал на скрипице писарь Иван Васильев. Во время этих веселостей яицкие казаки частенько напивались допьяна. Емельян же спиртное употреблял аккуратно, от излишней чарки воздерживался. Зато кушанья для его стола готовились изобильно — съестных припасов отовсюду привозили довольно. И почти каждодневно Пугачев приглашал на «царевы» обеды и ужины своих приближенников. Чаще иных трапезничали с ним Шигаев, атаман Овчинников да думный дьяк Ванюшка Почиталин. Творогов с Чумаковым куда реже. Не лежало к ним сердце, и к Митьке Лысову тоже. У Творогова-то родной брат Леонтий, что оставался в Илецком городке командиром над небольшой командой, усердно публиковал указы яицкого коменданта Симонова против «Петра III». Пугачев велел Леонтия арестовать и доставить в Берду, а тот удумал утечь в Оренбург, тогда Емельян приговорил его к смертной казни. Но заступились за него Шигаев и Витошнов, и сам

Иван Творогов слезно просил пощадить. Емельян простил Леонтия, но с позором изгнал из армии. После того Творогов избегал заходить к «царю» ежели без дела. А Дмитрий Лысов двуличием Емельяну не нравился. Глаза маслятся, а в глубине зло сверкает. Недобрый человек: едва с Самарской линии прибыл, жалобы посыпались — безвинных людей забижал, рукоприкладствовал, должностью кичился. Емельян тоже осерчал, хотел лишить его полковничьего чина, да опять Шигаев заступился. Шигаев-то за всех заступается! Простил и Лысова Емельян, но за стол с собой больше не саживал.

Вот с Подуровым да с Кинзей Арслановым готов был подолгу беседовать. Идоркен еще посещал, старик Витошнов — гостевщиков порой набиралось изрядно, и затевались тогда речи сурьезные — про оренбургское осаждение и про дальние планы.

Емельян своих дум не скрывал:

— Погодите, детушки, трохи, вот сдастся Оренбург, он уже теперь на последней веточке трясется, а как возьму его, то беспрепятственно и до Питера дойду.

Собеседники любопытничали:

— Ну на престол вступишь, а после того что?

Что после? Про это у самого Емельяна была в уме большая нескладица. С Катькой еще куда ни шло: либо в монастырь ее, либо прогнать обратно в ейный немецкий предел, откуда привезена была в жены покойному Петру Федоровичу. Да и с дворянами вроде понятно. На Таловом умете еще и на Кожевниковских хуторах, сговариваясь с яицкими, клялся Пугачев истребить всех бояр, чтоб стала жизнь спокойная, без отягощений. Чтоб ни рекрутчины тебе, ни налогов, и солью торговля вольная. И пожалования все должны получать равные — рядовые люди и чиновные, и вся чернь бедная, как россияне, так и иноверцы, мухаметанцы, калмыки и

даже на Волге поселенные саксонцы — для всех в России общий покой будет.

А вот как все то сотворится, Емельян пока не ведал.

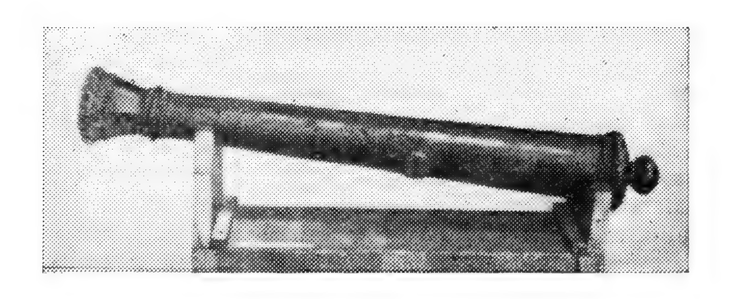
Однако сам казак и казаками поддержанный, клал он в основание казачьи вольности. И не ради ублажения яицких сторонников, а сердцем приемля, за истину почитая, что казачьи порядки всем принесут пожелаемую свободу. Потому и жителей российских — крестьян пахотных, фабричных — работных, да и солдат тоже! — всеместно присягой обращал в казаки, стриг по-казачьи, в платье казачье рядил и казачьим кругом правителей повелевал выбирать.

А как дальше царствовать? О том не задумывался. Хотя и возвещал порой для пущей важности:

— Вот возьму Оренбург и, на царствие утвердясь, все порядочно учредив, воевать в иные государства пойду.

Только это еще когда станется, а сейчас, под Оренбургом сидя, без утайки кидал он взгляды на Уфу да на Челябу — под Челябинском тоже объявилась толпа, и Емельян определил туда ехать с уральских заводов полковнику Грязнову.

А новоиспеченный «граф» Чика как прибыл в середине декабря под Уфу, так каждодневно рапортовал, какой наводит порядок в многотысячной своей армии да как собирается брать город. Пугачев немедленно Арапову в Бузулук отписал — войти в подчинение «графу Чернышеву»; Василия Торнова отправил в Нагайбакскую крепость атаманом, тоже приказал ему быть под началом у Чики; да и Чулошникова, есаула, снарядил на Самарскую дистанцию собирать людей с тем, чтоб соединился он потом с Зарубиным «помогать противу противнических партий в защищении верноподанных жителев». До того уж «император» ради Чики рас-



Пушка, отлитая на уральском заводе для армии повстанцев.

старался, что вспыхнула у яицких ревность. Шигаев, сколько сдержанный, и то с обидой выразил:

— Граф Чернышев да граф Чернышев! Отменно любите его, ваше величество.

— А ты что? — прищурился Емельян. — Может, сам хочешь графом кликаться? Так сделай милость — кличься! Нарекаю отныне и тебя графом Воронцовым. А Овчинников пущай граф Панин будет. А Чумаков — граф Орлов. Он-то и посадил на трон мою Катьку, а меня погубить хотел. Ну как, довольны, детушки?

Шутковал «государь» с подданными, да примечал: разумеют, смиренные, что за шуткой утаивает он серьезное. Для них, видать, тоже явственно стало: расходятся понемногу их пути-дорожки. Емельяну сиденье под губернским городом в тягость — будто заклепы на ногах! — а для них, наоборот, цель первейшая.

Не иначе как из хитрости затеяли они и новый приступ к Оренбургу. И не когда-нибудь, а в день рождества. К вечеру войска вывели, выставили артиллерию на полозьях, да задул в ночь сильный буран, повалил снег, отступили ни с чем. И 26 декабря дважды броса-

ли людей на крепость. Однако и эта затея ничем кончилась.

А через день Почиталин будто невзначай обронил:

— От графа-то гонец есть.

— Какой гонец? — встрепенулся Пугачев.

Оказывается, с третьего дня обретался в Берде зарубинский казак Федор Калашников. Привез он от «графа» рапорт, да полковники не соизволили уведомить о том «императора», дескать, святки, праздники сейчас, потому и не тревожили мы ваше величество делами, да и Оренбургом шибко обременены были, а в рапорте от его высокографского сиятельства ничего важнецкого нет... Словом, сыскали отговорки-оправдания. Гонца в сей миг призвали. Емельян узнал, что еще 23 декабря Чика предпринял решительный штурм Уфы, но после восьмичасовой жестокой баталии города не взял, отошел обратно к Чесноковке. Посланцы Чики захватили Саткинский завод и Златоустовский, города Бирск и Мензелинск. И Василий Торнов, взяв Нагайбак, подходил к Заинску, от которого всего двести верст до Казани! А еще в ту казанскую сторону шел от Бузулукской крепости Арапов.

Радовался Емельян: не ошибся он в Зарубине — сноровисто развертывался «граф Чернышев» по всему Закамью, не держался за одну Уфу. Видать, не забыл, как еще на Таловом умете рядили они о походе на Москву. И усердствует, не отступая от заветных помыслов.

Вот тебе и ничего важнецкого!

В тот же день новый гонец всполошил лагерь вестью: Илья Арапов занял Самару! Арапов на Волге!

Радость Емельяна разделяли и Подуров, и Арсланов, потому что и они всегда стояли за поход к центру, выход же к Волге открывал теперь путь через Казань на Москву.

А вот многих яицких верховодов успех бузулукско-

го полковника встревожил. И поспешили они доложить «государю», что Михайло Толкачев тоже изрядно преуспел — продвинулся к Яицкому городку. Когда же Емельян стал изыскивать, чем бы помочь Арапову, яицкие советчики заюлили: того у нас нет, другого не хватает...

— А пушки с Воскресенского завода прибыли? — вспомнил Емельян.

— Одна мортира, ваше величество, — ответствовал артиллерийский полковник Чумаков. — Да мы уже отписали Антипову.

— Что же вы ему отписали? — спросил Емельян, чувствуя, как нарастает в нем раздражение против наперсников, которые словно вели с ним скрытную войну: говорят одно, делать норовят иное.

Принесли указ, отправленный на Воскресенский завод Якову Антипову. В нем уведомлялось, что «секретная голубица чрез завода жителя Ивана Михайлова в армию его величества сего декабря 25 числа получена исправна».

— И это все? — возмутился Пугачев. — Получили одну мортиру, а где другие? Другие не надобны? Твори новый указ Антипову! — повелел он грамотею и начал диктовать: — «Как и прежде вам от 27 сего ж писали... мортиры и бонбы, также и пушки с припасами в немедленном времени сюда в армию его императорского величества представить!» — И окинул притихших казаков сердитым взглядом: — А полковнику Арапову все одно пособим!

Но вскоре получили новое уведомление: не устоял Арапов перед правительственным войском, посланным из Казани, и оставил Самару.

Яицкие сделали вид, что пригорюнились, однако успокаивали «царя-батюшку», не утаивая своего удовольствия:

— Зато, ваше величество, наш Толкач Яик забрал. Как будто одно с другим сравнимо — Яик и Самара!

Михайло Толкачев вошел в Яицкий городок в канун Нового года. Деятели бердинской коллегии сразу засуетились, принялись ретиво готовить Толкачеву вспоможение. В городке-то у них семьи, родичи — отчий дом...

Но Пугачев знал — предчувствовал! — что, несмотря на отступление Арапова от Самары, именно там, на Волге, в Прикамье, да на Урале самое место для затеянного им дела. И хотя окрестили его армию, стоящую в Берде, Главной армией, а под Уфой у Зарубина всего десять тысяч, зарубинские-то владения куда пообширнее, и растут они день ото дня! Ясно Емельяну, что держит он в расстройстве и нервности уже не одних оренбургских правителей да окрестных господ помещиков, а все российское дворянство, весь императрицын двор! Как огненная река, разливается по России пламя восстания от искры, которую высек он три месяца назад, далеко от центральных владений Екатерины в казачьем краю Яицкого войска.

Где же границы у той огненной реки?..

На основании многочисленных работ историков мы можем сегодня документально точно представить, насколько грандиозен был размах крестьянской войны, начатой Емельяном Пугачевым.

К концу 1773 года образовались три крупнейших повстанческих района — в Берде, в Чесноковке (под Уфой) и в Челябинске. На востоке был осажден Екатеринбург (Свердловск). На западе в начале 1774 года отряды пугачевцев вышли к реке Вятке, оказавшись всего в семидесяти верстах от Казани. На Урале на сторону повстанцев перешло 92 завода — иначе говоря: три четверти предприятий горнозаводской уральской промышленности работало на пугачевскую армию.

В середине декабря правительство Екатерины II наконец объявило о Пугачеве «всенародно». Однако даже сам акт оглашения императорского манифеста о «государственном злодее» становился причиной народных волнений. Московский губернатор князь М. Н. Волконский 18 декабря откровенно докладывал Екатерине, что он воздержался от второй огласки указа, «дабы не подать в публике причины к большему уважению о Оренбургском деле».

Срочные меры к предотвращению волнений принимались на Дону, на Тереке, на Украине, в Запорожской Сечи, в Сибири и Казахстане. Восстанием была охвачена огромная территория Российского государства, протяженностью с севера на юг свыше тысячи верст.

Да, предчувствия не обманывали Пугачева.

И к центру бы, к центру ему идти немедля! Тем более что правительственные войска под командованием Бибикова еще не были приведены в боевую готовность.

Но пристально следили за каждым движением «своего императора» яицкие казаки. Избрав «Петра III» знаменем собственных устремлений, они не собирались самозваного царя отпускать от себя.

Из письма А. И. Бибикова жене по прибытии в Казань 26 декабря 1773 года:

«Дела здесь нашел прескверны, так что и описать, буде б хотел, не могу... Многие отсюда, или лучше сказать большая часть дворян и купцов с женами выехали, а женщины и чиновники здешние уезжали все без изъятия, иные до Кузмодемьянска, а иные до Москвы ускакали».

Воевода Веревкин из Челябинска генералу Де-Колонгу 29 декабря 1773 года:

«Ежели хотя один казак из злодейской толпы сюда в Челябинск ворвется, то может передаться в зло-

дейские руки все население города, состоящее из казаков и крестьян, за ним же передастся вся провинция, а за Исетской провинцией неизбежно грозит сие зло всей Сибирской губернии».

Из донесения сибирского губернатора Чичерина, город Тобольск:

«Донские казаки Степан Певчев и Иван Серединкин, услышав, что явился в Оренбургской губернии таковой же злодей, бывший донской казак Емельян Пугачев... отважились не только дорогой всех жителей уверять об означенном самозванце, но и здесь в Тобольске о том разглашать».

А. И. Бибиков — З. Г. Чернышеву в Петербург, 21 января 1774 года:

«Зло распространяется весьма далеко... Не неприятель опасен, какое бы множество его ни было, но народное колебание, дух бунта и смятение...»

5 января 1774 года на помощь Толкачеву из Берды с полусотней конных казаков при четырех пушках отправился атаман Овчинников.

А вслед за Овчинниковым в канун крещения, прихватив с собой писаря Ивана Почиталина, поехал в Яик и Пугачев.

— Государь-батюшка, — провожая его, говорили льстивые «царедворцы», — токмо явитесь в яицкий ретранжемент, он зараз сдастся!

Скрепя сердце, понимая, что не отвратить своих советчиков от их отчего дома, Емельян согласился:

— Нехай! Заберем быстро яицкое укрепление, а после к Зарубину пойду, да на Казань!

Только не получилось у него, как замышлял...

ГЛАВА 7. «ТЕСНА МОЯ УЛИЦА, ДЕНИС!»

Река Яик вытекает из Уральских гор, скатывается к югу вдоль их гряды, от Оренбурга поворачивает на запад, потом снова на юг и, пробежав еще верст семьсот, в берегах глинистых, безлесных, вливает быстрые мутные воды свои в Каспийское море. На той излучине за семьсот верст от Каспия и прилепился Яицкий городок.

Два века назад появились в здешних пустынных местах первые беглые казаки с Дона да холопы из России, спасавшиеся от помещиков. Расселились они по Яику, прозвались яицкими казаками и несли царю сторожевую службу, ходили в закордонные походы, занимались рыбным промыслом. Жили неплохо, даже вольготно, пока не начала их утеснять царица Екатерина. Взбаламутилось тогда яицкое войско, разделилось на послушную сторону и непослушную и много лет уже пребывает в шатости, колебля окрестных казаков — илецких, оренбургских, а теперь уже и всех дальних — бузулукских, самарских, даже челябинских.

Яицкий городок — жительство немалое, домов три тысячи, все добротные, бревенчатые, под тесовыми крышами, с высокими резными крыльцами — жмутся на узких кривых улочках, разбегаясь пошире лишь в середке, на площади, где стоит войсковая изба да колокольня шестиярусная.

Вся срединная часть с важными зданиями обнесена валом. В эту крепость и забрался полковник Симонов с гарнизоном, когда Михайло Толкачев вступил в город. Симонов сзывал колоколом всех казаков, чтоб шли к нему, но немногие оставили свои хоромы. А Толкачева, напротив, встретили с радостью, вооружились чем ни попало и бросились на крепость, засе-

ли в высокие избы, начали стрелять из окошек. Симонов приказал сжечь ближайшие к валу избы и нещадно палил из пушек, а пушек у него набралось до двух десятков и солдат тысяча да еще две тысячи послушных казаков.

Пугачев въехал в город, когда Толкачев вкупе с Овчинниковым, прибывшим ранее, снова пытались взять симоновский редут. Емельян увидел, что и сей штурм бесплоден, и пресек его. А послал Симонову манифест с увещеванием, чтоб сдавались без боя. Но ответа не получил. И на другой день затеял подкоп под Яицкий кремль: удумал сладить минную галерею да подорвать на крепостном валу пушки, которые вредили его толпе изряднее прочих. Смотрителем за работой сделал Якова Кубаря, к нему определил полторы сотни землекопов да одиннадцать плотников — крепь наводить, и сам здесь бывал с изначалу денно и нощно: показывал, какую держать линию, чтоб траншея достигла крепостного бастиона. А покуда рыли траншею, Емельян, остановившись квартировать в доме Толкачева, делал иные учреждения, потребные для приступа к городу.

И сыграли еще тут разом две свадьбы! Любимец Ванюшка Почиталин присмотрел дочь казака Головачева, девицу пригожую.

Емельян одарил невесту по-царски, платье богатое положил, да и свадьбу взял на свой кошт: как-никак, а Ванюшка — думный дьяк Военной коллегии, слуга государский, важный!

Другую же свадьбу гуляли в доме у Дениса Пьянова, того самого Пьянова, который год назад потчевал в течение недели Емельяна как гостя и которому Емельян первому на божьем свете объявил, будто не казак он донской, а царь всероссийский. И сейчас, едва въехав в Яик, вспомнил «император» о Денисе.

И сведал, здесь ли он. А как ответили, что, из бегов воротясь, здесь живет, приказал позвать. Принял его, сидя в толкачевской горнице, пышно разодетый.

— Узнаешь ли меня? — спросил с улыбкой.

— Как не узнать, — ответил Денис, переминаясь с ноги на ногу у порога. Был он щупл и хил — отставной казак, отдавший царской службе тридцать годов и по бедности невзрачный, хворый — хоть и полсотни лет ему, на вид куда больше.

— Садись, — жестом приблизил его Емельян и опять улыбнулся. — Я, Денис, хлеб и соль твои помню. Проси что хочешь.

Ничего Пьянов не запросил, только рассказал тихим голосом про жизнь свою маятную — как шатался в побеге у стариков раскольников, и на илецких хуторах, и на общем Сырте жил некоторое время в яме. Емельян утешил:

— Ладно, назади теперича все это. Вот возьми! — протянул он пятирублевик. — Должности тебе никакой не даю, по годам не потянешь, а так знай — не забуду.

Ушел Пьянов. А Емельян прослышал, что готовится он сыграть сыну Михайле свадьбу, и послал Овчинникова оказать подмогу деньгами, одеждой. Да и сам пришел на ту свадьбу, кричал молодым «горько», сидя за столом рядом с Денисом.

Отчего потянуло его к этому неприметному человеку? Не воспоминание ли о прошлом, когда был еще не «царем», а Пугачевым, мечтавшим всколыхнуть и поднять всю Россию? И всколыхнул. И поднял. Да вот привязан сейчас к богом забытому бревенчатому городишке — роет подземную траншею и не ведает, когда отсюда вырвется! Не радуют его здесь ни добротные дома, ни люди, в них жительствующие, ни покорность верноподданническая, потому что чует сердце: нет за

льстивой лаской прочной верности. Сердцу-то хочется прикоснуться к сострадательному участию. Может, только Денис Пьянов изо всех, кто вокруг сейчас, один и сочувствует по-человечески, не имея от «царя» никакой корысти — должности... И сдвинул Емельян свою чарку с его чаркой, обнял за плечи и, утаиваясь от прочих, пожалобился с горестным вздохом:

— Тесна моя улица, Денис!

Ничего не ответил Пьянов. Да и понял ли он самозваного императора? Емельяну еще тошнее сделалось.

И совсем уж невмоготу стало дышать, когда наутро приехали из Берды Афанасий Перфильев да старик Иван Фофанов и взбудоражили вестью из главной армии. Оренбургские оборонители, прознав, что Пугачев укатил в Яик, рассудили, будто осталась его толпа без головы, и учинили вылазку.

— Но не будьте в сумнении, государь, — уверил Перфильев, — теперь все исправно, загнали их мигом.

Однако Емельян обеспокоился. Не только оренбургские без него зашевелились. С севера князь Голицын правительственные войска ведет. Слухи о нем пока смутные, но оттого не менее тревожные.

И заторопился Пугачев, приказал быстрее рыть минную траншею.

Наконец 19 января, как достигла траншея пятидесяти сажен в длину, дал знак прекратить работы и спустился в подземный ход с зажженной свечой, проверил, хорошо ли поставили десятипудовую бочку с порохом. А в четыре часа утра 20 января собственноручно поджег фитиль.

Прогремел взрыв. Над крепостным валом у Старицы вздыбилось облако дыма и пыли. С нетерпением ожидавшие этого мгновения двести казаков, яростно

крича, бросились в атаку. Но едва дым развеялся, Емельян увидел: вал не разрушен, только осел в одном месте, брешь совсем пустячная. Все равно повел он казаков вперед — пробились к укреплению, начали взбираться на стены. И в других местах все, кто был в Яицком городке на стороне Емельяна — татары, калмыки, крестьяне русские, — тоже начали пробиваться к кремлю. Но с крепостных стен открыли пальбу — картечную, ружейную, обливали нападающих согретой в котлах водой, обсыпали горячей золой. Десять часов шел бой. И безотдышно Емельян был впереди, у самой стены стоял во рву, понуждал казаков к новым наскокам, отчаявшихся даже покалывал копьем. Напоследок же сам отступился... Кончилось сражение превеликими людскими потерями — четыре сотни убитых остались лежать во рву, не меньше раненых было. Казаки не желали мириться с неудачей.

— Возьмем Яик! — горланили они буйно и принялись уговаривать Емельяна делать новый подкоп под кремль, под шестиярусную колокольню, где у Симонова, по слухам, запрятана пороховая казна. Емельян согласился.

Сам он решил поехать в Берду. Но казаки опять подступили с прошением: сначала, дескать, собери нам круг, пускай в кремле увидят, какие вольности дал Яицкому войску «император Петр Федорович». Согласился Пугачев и на это.

И вот на центральной площади городка, на виду у засевших в кремле, шумливо прошли выборы. Первым делом был объявлен «царский указ», потом сам «царь» объявил, что соизволяет казакам выбирать власть по прежнему их обыкновению. И едва сказал он так, все начали громогласно выражать свое ликование — нарочно пошибче, чтоб далеко разносилось:

— Вот то-то отец наш отдает, посмотри, как отдает выборы атамана на нашу волю!

Усмехнулся Емельян: тешат себя яицкие, зрелище представляют. А выбирают-то лишь богатых. Войсковым атаманом стал имущий казак Никита Каргин, старшинами сделали Афанасия Перфильева да Ивана Фофанова.

Эти два яицких казака явились к Емельяну в Берду недавно, тайно подосланные Симоновым. Перфильев-то даже из самого Петербурга прибыл. Был он там одним из четырех челобитчиков, коих немалый срок назад направило Яицкое войско к царице испрашивать у нее прощение за прошлый бунт. Да толку от их торчания в столице не было. Когда же Пугачев осадил Оренбург, скумекала Катерина тех челобитчиков употребить для своей выгоды. По ее приказу князь Орлов призвал Перфильева и посулил, что решатся все войсковые просьбы, ежели согласятся яицкие погубить Пугачева. С тем и поехал из столицы в Яик Афанасий Перфильев с Петром Герасимовым. А из Яика Симонов направил Перфильева в Берду с Иваном Фофановым. Только передумали они вредить Пугачеву. Перфильев-то как предстал пред «царем», просто сказал:

— Приехал служить вашему величеству.

Но Емельян пристально посмотрел на сутулого, широкоплечего, рябоватого сотника и заподозрил недоброе:

— А не шпионить ли прибыл? Может, извести меня хочешь?

Перфильев смешался, ответил невразумительно, а на другой день открылся своему приятелю — атаману Овчинникову. Овчинников сразу сказал: «Нет, Афанасий, выкинь это из головы. На посулы графские нам надеяться нечего, довольно и так потерпели от них,

теперь сами у себя в руках все иметь будем». И привел Перфильева с повинной. Перфильев «царю» в ноги бухнулся:

— Виноват перед вами, что вчерась правды не сказал.

— Бог простит, коли винишься, — ответил Пугачев. — А что утаил-то?

Тут и поведал Перфильев про петербургские козни. Емельян выслушал и сказал:

— Однако, видишь, угадал я про тебя. Да не боюсь, знаю — сего не сотворишь, и никто на меня зла не помыслит. Служи!

Он наградил Перфильева — дал красный суконный кафтан да тридцать рублей серебром и зачислил в команду Овчинникова, а когда поехал под оренбургские стены, взял с собой, и там Перфильев выказал храбрость — под самые стены отважно совался и кричал: «Эй, казаки, вы знаете, кто я? Перфильев я, который в Питере был и прислан оттуда, чтоб служить верно его величеству Петру Федоровичу!» Понравилось это Пугачеву — сделал он Перфильева полковником. А теперь и в Яике ему почет оказан — выбрали старшиной. Может, и впрямь будет держаться за Емельяна?

Только одна беда: как и многие яицкие, крепко привязан к своему гнезду казацкому. Да еще в расправе крут!

Вот и после выборов, не успели казаки на площади откричаться, а к Емельяну в толкачевский дом уже ввалились новые правители вымаливать смертную казнь двадцати сторонникам Мартюшки Бородина. И Перфильев неугомоннее прочих, без утайки смело объявил:

— Ты уж предоставь нам, государь, право самим над злодеями суд чинить. Все одно порешим их.

«И порешат ведь!» — не усомнился Емельян, вспомнив, как противу его воли извели пленного сержанта. Потом махнул рукой: судите! Затем отправил Овчинникова в Гурьев городок взять там пушек и пороху, наставил Матвея Ситного, как вести минный ход под колокольню, и укатил в Берду.

В Берде «императора» встретили с подобающей честью. И с ходу начали уверять полковники, что все у них благополучно. Главная армия многолюдна, сыта, одета, а вот в Оренбурге — голод, нехватка провианта — пуд муки стоит в тайной продаже двадцать пять рублей, да и того нет...

— Жаль очень бедный простой народ, — вздохнул Емельян, когда выслушал про оренбургские страсти. — Напрасно пропадает. Отписать бы Рейндопке, чтоб сдавался.

— Можно и отписать, — согласились полковники — верховоды Военной коллегии — и продолжали уверять, что князь Голицын еще далече, да и генерал Бибиков, что наместо Кара царицей поставлен, сидит в Казани: видать, идти на рать «Петра III» не решается, в бумагах же оповещает, что готов дать десять тысяч рублей тому, кто доставит в его руки живого самозванца.

— Растет ваша цена, — засмеялся Шигаев, — поначалу-то Рейндопка отвалил всего пять сотен, а теперь...

— Немалый куш, — сказал Чумаков. — Только никому не желательно получать его.

— Потому что отменно дела идут, — объяснил Твогогов. — Гляди-кось, и еще награду прибавят.

И опять все наперебой принялись расписывать, как повсюду идут дела — у Зарубина, и у Грязнова, и у Салавата под Кунгуром. А еще и новый полководец объявился — под Екатеринбургом Иван Белобородов:

захватывает уральские заводы, грозит всему ведомству. Тут как раз и делегация от Белобородова прибыла с рапортом: изъявлял Белобородов свою усердную службу «Петру III». Емельян вовсе повеселел. Приказал послать Белобородову именной указ, а в том указе велел назвать его атаманом.

Потом удумал затеять смотр Главной армии. Но яицкие казаки, безотлучно за ним ходившие, зудели неустанно:

— В Яик, государь-батюшка, в Яик вертайтесь. Тут все изрядно, а как Яик заберем, там и Оренбург...

Отписал Емельян дальним командирам — и Арапову в Бузулук тоже! — чтоб не упускали из виду князя Голицына, присылая в Военную коллегию рапорты о нем, да старались препятствовать императрициным войскам в походе к Оренбургу. И, препоручив опять главную команду в Берде Максиму Шигаеву, поехал повторно в Яик.

Не поведало сердце ему, сколь напрасно он это делает! Себя от важной заботы уводил, а дальних полководцев своих уж воистину главы лишал. Да не ведал он еще тогда, что обманули его хитрые сподвижники: отнюдь не везде было все так справно, как они разрисовали...

В Яике между тем неторопко рыли траншею. Овчинников еще не воротился из похода в Гурьев, но в городе набралось видимо-невидимо силы, отряженной сюда из Главной армии. Стало голодно. Правители Берды тщились поставлять провиант, но помышляли больше о собственной родне. Шигаев переслал с казаком Носовым три воза ржаной муки, и вся она была отдана его домашним. Жители роптали. Иные и вовсе расхолодились брать кремль, впали в застой и безразличие. Симоновцы же, напротив, взбодрились. Прослышав об идущем князе Голицыне да и других пра-

вительственных войсках, они даже осмелились делать выпады — поджигать дома, рушить деревянный тын, коим в самом начале еще восставшие опоясали крепость.

Увидя такое расстройство в делах, Емельян осерчал и с пылом принялся наводить порядок. Воевать, черт бери, так воевать! Перво-наперво он поставил новые батареи для устрашения осажденных, а дабы запереть им все выходы из кремля, приказал покласть на площади бревна, в улицах сделать завалы. И ускорил рытье минной траншеи — сам не единожды спускался в подвал дома, из которого был начат подземный ход, за сто сажен от колокольни.

Подкопщики опасались, как бы симоновцы, приметя их возросшую шустрость, не затеяли ответное рытье — навстречу. Тогда Емельян приказал копать не прямо, а ломаной линией, с поворотами, зигзагами, а чтоб в галерее был продух и не гасли свечи, велел вертеть коленчатым буравом вверху отдушины. Он самолично вымерял углы, давал направление. И неутомимой своей азартностью убедил всех: быстрее, как можно быстрее надо кончать с Яиком...

Однажды утром яицкие радетели вдруг подступили к нему с собственным планом — как вернее одержать победу над Симоновым.

— Государь, выслушай, — заговорил Толкачев, войдя в горницу, у порога же столпились главари-сподвижники и старики горожане, почетные бородачи Емельян нахмурился: зачем это они пожаловали? Толкачев упредил его вопрос, продолжив речь:

— Не прогневайся, государь, на наше решенье, но тебе надобно жениться.

— Как это жениться? — оторопел Емельян. — Пошто?

Никита Каргин сноровисто объяснил: ежели женит-

ся император Петр Федорович на казачьей дочери, то все войско Яицкое зараз к нему будет прилежно.

— Да не время мне сейчас жениться, — возразил Пугачев. — И притом есть у меня жена Катька в Питере, государыня...

— Какая ж она жена, — заспорил длиннобородый Иван Фофанов. — Она тебя с престола сверзила.

— Но ежели я здесь женюсь, мне Россия не поверит, — отговаривался Емельян.

Тут уж все в один голос взялись убеждать: дескать, когда мы тебе поверим, так и вся Россия поверит, потому что мы славные яицкие казаки. А в кремле у Симонова тем паче все на нашу сторону перекинутся — с ними уже уговорка есть.

«А что? — подумал Пугачев, видя, что ни отмолотиться от них, ни отчураться. — Может, вправду все решится и разом кончится тут мое сиденье?» И спросил:

— Где невеста-то?

— Изволь, хоть сейчас смотрины сделаем! — обрадовались старики и мигом сладили поезд — все было у них сготовлено. Отправили сватов в дом Петра Кузнецова, а через короткое время повезли туда и Емельяна.

Народу набежало множество и девок — пропасть! Емельян сел на лавку, оглядел всех, спросил строго:

— Которая?

Бойкая молодайка подхватила за руку стоящую у печки красавицу, подвела к императору.

— Вот, ваше величество. Устиньюшка наша, дочь Петра Михайлыча.

Емельян взглянул на невеселого старика отца:

— Ты ли хозяин сему дому и твоя ли это дочь?

Петр Кузнецов с поклоном ответил:

— Дому сему я хозяин и дочь моя.

Емельян встал и, как царю положено, чтоб никакой отговорки делу решенному не позволить, объявил властно:

— Намерен я жениться на твоей дочери.

Устинья заплакала, Кузнецов забормотал:

— Молодехонька она еще...

Но с двух сторон поспешили к нему Толкачев с Каргиным, взяли под руки, говоря что-то, отвели подале.

Пугачев сказал Устинье:

— Поздравляю тебя царицей! — И, протянув тридцать рублей серебром, приказал не плакать, а готовиться к венцу.

На другой день с блеском была сыграна свадьба. Нарядный брачный поезд с войсками, со знаменами заполонил узкие яицкие улицы. А венчанье шло в церкви Петра и Павла. Емельяна называли именем покойного императора, Устинью тоже нарекли российской императрицей. Стояла она, накрытая фатой, ничего не видела, только плакала. А потом гуляли в доме у Толкачева — пир горой, разливанное море вина, песни и пляски. И мельтешили в масленых улыбках хмельные лица, и Денис Пьянов тут же на краю стола, Ванюшка Почиталин с молодой женой, и Перфильев... И Толкачев, и все главари яицкие довольны: свершили дело им угодное! Новая родня «царская» — сестра Устиньи Мария с мужем Семеном Шелудяковым и вовсе на седьмом небе. Только говорят про этого Шелудякова, что стоит он за симоновцев, что от него симоновцы-то и прослышали про князя Голицына. Так ли это, не так, кто знает, но в пьяном угаре яицкого веселья Емельян почувствовал себя среди всех этих людей чужим и лишним. Велика Россия, сколько в ней просто-

ра, а он, вольный казачина донской, в этот угол загнан!

Если бы сидел сейчас Денис Пьянов не на другом краю стола, а рядом, как месяц назад, обнял бы его опять за плечи и закричал истошно, во весь голос, душу высвобождая от тоски и одиночества: «Тесна, Денис, ох как тесна-то моя улица!..»

Всю ночь просвадебничали яицкие, еще и день прихватили. А симоновский ретранжемент не сдался. Заполонили весь дом Устиньины кровники и обнаглели в обращении с царем-сродственником. Устинья и та осмелела: «Ты, — вдруг заявила, — и не царь вовсе!»

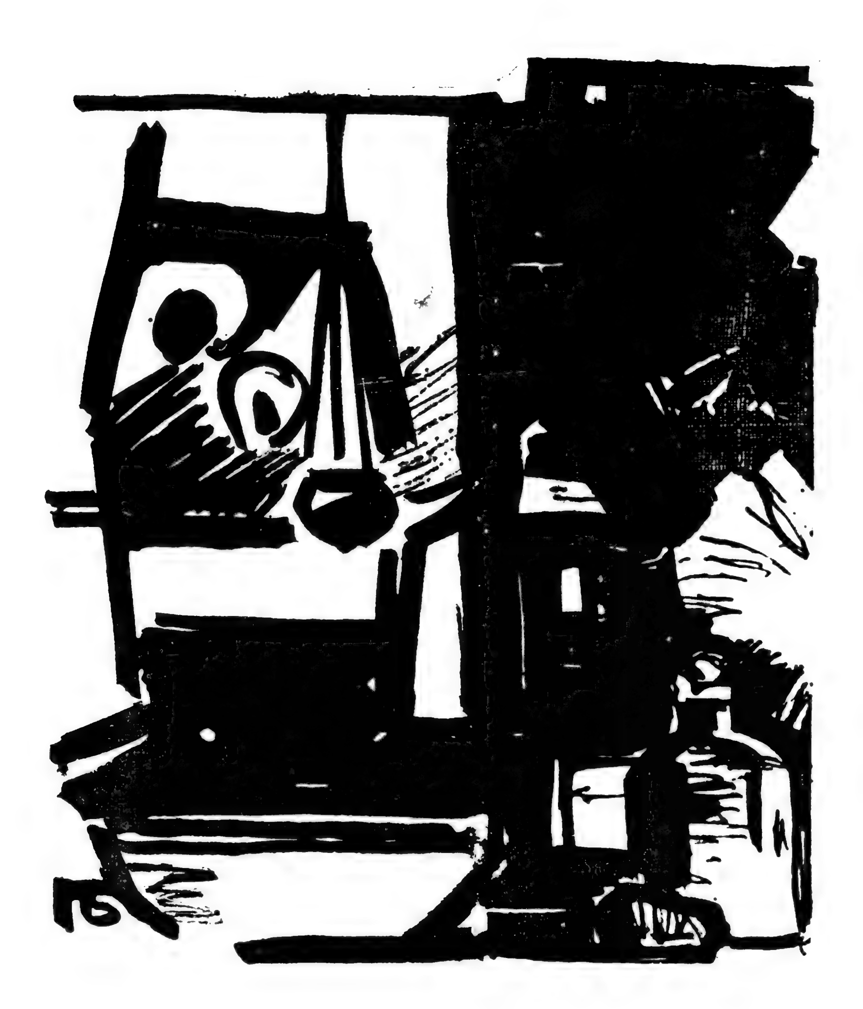
Грохнул Емельян об стол кулачищем, прикрикнул, чтоб не смела больше о том заикаться и чтоб ни в какие государевы дела не встревала — царица, так сиди себе во дворце, балакай с фрейлинами про наряды, а куда не треба, носа не суй. Всех ее родичей шугнул подальше. Сам же от утра до поздней ночи стал помогать подкопщикам вести минную галерею под колокольню — в рост человека, шириной в сажень, она, по всем расчетам, была уже совсем близко от церковного погреба, где хранился симоновский боевой припас.

Тут вернулся и Овчинников из Гурьева, привез 60 пудов пороху. Пугачев назначил сроки взрыва — 19 февраля.

Но накануне вечером вломился к нему дежурный казак Антипов и срывающимся голосом сообщил: беда! Переметнулся к симоновцам отпрыск бородинского приспешника малолеток Ванька Неулыбин. Бежал он в неприятельский стан не иначе как для того, чтоб открыть там про секретную траншею.

— Кто надоумил его? — спросил Емельян.

Ни один из приближенных не мог дать на это от-





вет. Да и по наущению ли чьему, а не из чистого усердия свершил свое черное дело старшинский выродок?

Среди сохранившихся документов, раскрывающих нам историю пугачевского восстания, нет такого, который бы со всей непреложностью доказывал, что подростка Ивана Неулыбина подговорил на измену кто-то из взрослых казаков. Однако есть один факт...

Через год с небольшим после описываемых событий — 11 марта 1775 года — Тайная правительственная экспедиция вынесла определение... освободить Семена Шелудякова с женой Марией (сестра Устиньи) от ссылки на поселение и отдать по-прежнему в уральское (то есть Яицкое) войско, учитывая то, что он, Семен Шелудяков, при атаке пугачевцами Яицкой крепости оказывал верность... и войсковой атаман Мартемьян Бородин особливо о его верности засвидетельствовал...

За какие же «особливые заслуги» перед правительством Екатерины II получил столь высокую милость и полное освобождение родственник «царя» Семен Шелудяков?..

У Пугачева не оставалось времени учинять дознание и выискивать виноватых. В десять часов вечера узнал он об измене, а уже в двенадцать произвел взрыв. Он рассудил сделать его не утром, как намечал, а в полночь, надеясь на то, что Симонов не успеет за два часа убрать из церковного подвала свой припас.

Но Симонов успел. И двадцати пудов пороха, которые Пугачеву удалось заложить в траншее за эти два часа, не хватило, чтоб разрушить стены кремля. Не рухнула даже колокольня — обвалились лишь верхние ее ярусы. Емельян не стал делать штурма — только пометал в крепость бомбы. Симонов ответил

тем же. В морозной февральской ночи загорелась злая стрельба. Днем все-таки попытались прорваться в кремль, но овладеть крепостью не хватило силы. А в это время прискакал гонец от Арапова.

Весть была худая. В Бузулук пришел посланный князем Голицыным генерал Мансуров. Арапов дрался с ним три часа и не устоял, — потеряв полтыщи убитыми и ранеными, отступил. Екатерининские войска движутся за ним.

Емельян всполошился. Опасность для Главной армии была уже нескрытная. Он начал решительно сбираться в Берду, пожелав взять с собой пять сотен казаков во главе с Овчинниковым. Никита Каргин покусился еще удержать его: маслена, дескать, скоро, здесь бы и отведали блинцов. Емельян запальчиво крикнул:

— В сей миг отбываем! — И добавил, усмехаясь: — Не рад станешь блину, когда кирпичом в спину.

Он покинул Яик, без сожаления оставив и его кривые улицы, и всех жителей с молодой «царицей» в придачу. Впрыгнув в возок, запахнул полостью ноги, ткнул возницу: «Трогай!» — и вздохнул с облегчением, едва вымчали кони на степной простор: наконец-то вырвался! Не без умысла отвлекали его полковники от важных дел в Берде — заталкивали настырно в свою казачью столицу. Вот и расписали про Катькиных генералов завирально. Не потому ли и Арапов прислал сейчас нарочного не к ним, в коллегию, а прямиком сюда, к самому Пугачеву? Не иначе как тоже перестал доверять казачьим правителям.

С такими мыслями — злой на всех яицких! — Емельян и торопился в Главную армию, полагая, что самоличным присутствием и вмешательством он исправит сложившееся положение.

Но было уже поздно...

ГЛАВА 8. ХУДОЕ ВИДЕЛИ — ХОРОШЕЕ УВИДИМ

Вторая карательная экспедиция, организованная Екатериной после поражения генерала Кара, была задумана как серьезная военная операция, соответствующая крупным масштабам крестьянской войны. В распоряжении главнокомандующего правительственными войсками А. И. Бибикова было более пяти тысяч регулярных солдат с артиллерией, сибирский корпус генерала Де-Колонга, двухтысячный корпус генерала Фреймана, полутысячный отряд донских казаков, все местные гарнизоны, а также многотысячные легионы и конные отряды дворянского ополчения — московского, симбирского, пензенского и в первую очередь — казанского. Казань стала центром формирования и объединения всех антипугачевских сил.

Почему именно Казань, а не Самара, которая расположена много ближе к Оренбургу? Да потому, что Казань прикрывала дорогу на Москву. А российская императрица и ее генералы куда сильнее, чем Берды, боялись зарубинской Чесноковки. Отсюда, от Уфы, Иван Зарубин успешно распространял свое влияние на север и на запад, дотянулся до Самары и угрожал Москве. Поэтому Бибиков, собирая войска в единый кулак, направлял их таким образом, чтобы они при подготовке решающего наступления на Главную пугачевскую армию одновременно очищали от повстанцев районы Башкирии, Прикамья и Урала.

Изгнанием из Самары Ильи Арапова 30 декабря 1773 года майор Муффель фактически начал действия второй карательной экспедиции против пугачевцев. Это наступление правительственных войск вскоре стало повсеместным. Полковник Бибиков, сын главнокомандующего, занял города Заинск, Мензелинск и Нагайбак, генерал Де-Колонг 13 января вошел в Челябинск, секунд-майор Гагрин 25 января разбил Салавата Юлаева под Кунгуром и двинулся на Красноуфимск. Повстанцы повсюду мужественно сопротивлялись, многие города, села, заводы переходили из рук в руки, однако к началу февраля, как раз в то время, когда Пугачев приезжал в Берду после первого неудачного взрыва в Яике, кара-

тели значительно потеснили восставших, и территория, занятая пугачевцами, сократилась. Правительственные войска продолжали медленно, но неотвратимо сжимать кольцо вокруг Уфы и Оренбурга.

Екатерина II лично следила за действиями на внутрироссийском фронте. Бибикову она предоставила неограниченные полномочия. Она не жалела средств для скорейшего усмирения «бунта» и даже назвала себя «казанской помещицей», изъявив при этом монаршее благоволение передать весь доход, идущий из Казанской губернии, местному дворянству, лишь бы употребили его на борьбу с Пугачевым. Самого же Бибикова она непрерывно подгоняла, приказывая «прежде весны окончить дурные, поносные сии хлопоты». А в письме от 16 февраля 1774 года требовала грубо и развязно: «Ну, барин, не скажи, что войск у тебя недовольно, кажется, всем снабден. Пора кончить...»

Решающий удар по зарубинской армии в Чесноковке должен был нанести подполковник Михельсон. А к Оренбургу Бибиков направил объединенные силы, командовать которыми назначил князя П. М. Голицына. Голицын вышел из Казани и, с трудом преодолевая глубокие снега, двинулся к югу. В Бугульме он встретился с Фрейманом, 26 февраля они вместе достигли Бугуруслана. С правой стороны от них находился со своим корпусом генерал Мансуров, выбивший Илью Арапова из Бузулука. Повстанческие отряды, отступившие с Араповым к югу от Бузулука, сосредоточились в Сорочинской крепости и в деревне Пронкино. Сюда и нацелил все подчиненные ему правительственные войска князь Голицын.

Емельян мигом спознал, сколь серьезно дело. Да и коноводы в Берде поняли, что все оборачивается нешутейно. Теперь стало видно, что без него коллегия уклонялась от подмоги отрядам в других местах. Попусту тщились дальние командиры вымолить у Берды людей или пушки для военных нужд, а ежели кто из

них самолично наезжал, все одно мало чего добивался. Ульянову, которого прислал Зарубин, яицкие правители ссудили лишь четыре пуда пороха. Торнова же вовсе отпустили ни с чем, а для ублажения окрестили — за усердие! — атаманом и вроде в насмешку предписали собирать людей для Главной армии. И от Давыдова, что прибыл с Бугуруслана, отмахнулись.

Вот и потеряны многие города, потому что не об общем благе пеклись казаки, а о себе да об Яике.

Когда же объявил Емельян про женитьбу, собрав ближайших сподвижников, то заметил, как неравно приняли они эту весть. Отнюдь не все возрадовались. Творогов с Чумаковым да Митька Лысов переглянулись довольные, старик же Витошнов и Яким Давилин, да и Кинзя Арсланов с Подуровым, Горшков с Мясниковым, глаза в землю уставя, ничего не ответили. «Чем же вы так оскорбились? — подумал Емельян обеспокоенно. — Мне ведь старики в Яике присоветовали».

Тогда Шигаев, впереди прочих стоящий, поклонился, поздравил государя с супругой и приказал принести всем вина.

Пугачев встал с трона, поднял до краев наполненную чашу.

— Велите о том всем огласить! — сказал он и выпил до дна, потом взял медных денег и пошел на улицу — кидать их народу.

Но в душевной смуте пребывал он, приметя, что не умножилось, а, напротив, истребляется в толпе усердие к его особе. Никто ему мыслей своих из страху не сообщал, однако ж из некоторых движений и разговоров заключил он, что недовольны и ропщут многие втайне: дескать, для чего он, государь, дела не окончив, то бишь престола не получив, женился?..

Из показаний секретаря Военной коллегии илецкого казака Максима Горшкова при допросе 8 мая 1774 года:

«...Я и мыслил тогда о нем иначе, нежели прежде, потому что прямому царю на простой казачьей девке жениться казалось мне неприлично...

...На масленице ж, пришел ко мне в квартиру, самозванной толпы сотник, яицкий казак Тимофей Мясников и будучи несколько пьян, зазвал меня к себе в квартиру, где потчевал пивом, и как тут с ним понапились, а он уже и гораздо сделался пьян, тогда зашла у нас, не упомню к чему, речь об атамане Овчинникове. Мясников зачал его бранить, сказывая: «Смотри-де, пожалуй, — прежде сего Овчинникова и чорт не знал, а ныне в какую большую милость вошел к государю и сделался над нами командиром, так что и слова уже не даст нам выговорить, и ни за что нас не почитает. А вить-де мы государя-то нашли, и мы его возвели, а в те поры едаких овчинниковых и в глазах не было; а ныне-де он, то есть самозванец, изволит жаловать больше его и других, подобных ему, не знаемо за что, а нас оставляет...»

Запоздало, да все же устроил Емельян смотр Главной армии: стал проверять артиллерию и припасы к ней, поехал и в Каргалу, прихватив с собой пушечного командира Чумакова и других полковников. Так вот ни у Чумакова, ни у других рвения не приметил. А Митька Лысов особливо распоясался. Винище лакал безостановочно и царя-батюшку панибратски уговаривал к чарке приладиться.

— А ну, хватит! — не выдержал однажды Емельян. — Доколе будешь бражничать?

Лысов, кривляясь, подмигнул:

— За твою же государыню Устинью Петровну здравица. А чью здравицу пьем, того и чествуем.

— Окаянствуешь, змей? — повысил голос Емельян.

Яицкие поспешили увести Лысова, а «императора» принялись успокаивать: дескать, хлебнул Митька лишнего, образумится...

Из показаний пензенского крестьянина Алексея Зверева при допросе в ноябре 1774 года:

«При Пугачеве ближние наперсники, никого не пуская, производят советы, а секретов их прочим слышать не можно. И все, кроме яицких, удалены и в страхе находятся. Напротив того яицкие дерзновенны и вольны... По малым прицепкам бьют, а в случае и колют, — старается каждый им угодить, чтоб не прогневать. И так не только чернь, но и хороших людей, да и всех военных имея для дела, а содержали в презрении».

Они уже выезжали из Каргалы, и Емельян вскочил в седло, когда из окружившей их толпы вырвался старик в рваном бешмете, стянул с головы треух, кувыркнулся перед самым конем «царя» на колени:

— Дай слово молвить, надежа-государь!

Его хотели оттащить гвардионцы-охранители, но Емельян дал знак не трогать: «Пущай сказывает». Старик начал жаловаться. Была в их деревне казачья команда, привел ее полковник Лысов и учинил всем жителям полный разор, убивал, вешал, грабил людей невинных всякого звания и сажал крестьян в ледяную воду на морозе. Старик-то едва утек, спасся бегом, вот и приносит теперь от имени сельчан всемилостивейшему жалобу. Пугачев не дослушал до конца, все понял, гневный, обернулся к Лысову и другим полковникам, что скучились верхами позади:

— Правда ль то?

Лысов побелел, ничего не ответил, и все молчали.

Емельян стеганул коня, подъехал к Лысовой команде, велел казакам как на духу признаваться, садил или не садил их полковник людей при морозе в ледяную воду. И выведал истину.

Снова в сердцах стеганул коня и поскакал, не оглядываясь, зная, что лучше в эту минуту уйти от греха подальше, остыть малость... А когда были уже в чистом поле, сам Митька Лысов догнал «царя» и, сбочь него держась, заговорил. Однако не то чтоб прощения испрашивал, а вроде еще с игривостью, себя защищая:

— Ну шо, государь, за беда такая — не казаки ж они...

Пугачев резко осадил коня, аж снег из-под копыт.

— Люди они!

Лысов захихикал, гарцуя:

— Такие же люди, как ты — царь...

— Что? Да я тебя!.. — Пугачев замахнулся.

И тут случилось неожидаемое: другие казаки, что остановились поодаль, не успели ахнуть, как Митька пришпорил коня и наехал на «государя», наведя на него копье. От сильного удара Пугачев вылетел из седла на землю — шашка на снегу, кафтан на плече прорванный, был бы и ранен, да спасла железная кольчуга, которую всегда носил под платьем. Вскочил Емельян сразу на ноги, лицо страшное, дрожит весь, волосы растрепались, кулаки сжал:

— Хватайте злодея!

Лысова обезоружили, скрутили.

Пугачев снова вспрыгнул в седло и, ни слова больше не говоря, помчался вперед. А в Берде, едва вошел в избу, приказал кликнуть писарей и велел Швановичу сочинять указ-приговор:

— «Божиею милостью мы, Петр Третий, император, самодержец всероссийский и прочая, и прочая, и

прочая. Объявляем во всенародное известие... Ныне, усмотря чрезвычайно оказанную от казака Дмитрия Лысова несносную высокообладающей особе нашей поносную обиду, за которую по всем правам и узаконениям подверг он себя публичной и поносной смертной казни...»

Прослыша о том, вбежали взбулгаченные Шигаев, Творогов, Чумаков. Начали умолять простить глупого ослушника, согласного нижайше пасть в раскаянии. Но Емельян был неколебим.

— «На что б смотря, каждый не отважился, чтоб нас понесть, и всегда возмог признавать и почитать нас за действительного и природного своего чадолюбивого монарха...»

Шванович поставил под указом нерусские буквы «Peter» и дату: «Марта 3 дня 1774 года». Емельян положил бумагу на столе перед собой, прикрыл ладонью, будто припечатал.

— Пощади, пресветлейший, державный, — вконец уж уничижительно зазвучал голос Шигаева. — Казак ведь он наш добрый, спьяну ополоумел, сам кается...

— Нет! — Емельян еще раз припечатал бумагу ладонью. — Не будет ныне по-вашему!

Не за свою персону мстил он сейчас, хотя и отписал так в указе для верности подданным. На самом же деле изливал всю свою злость-досаду, на яицких накопленную, — за худую их службу неверную, за хитрость с женитьбою учиненную, за помышление ставить себя превыше других людей российских.

— Нет такового закона простой народ забижать! — сказал он. — И грабительства безвинных людей я не терплю, вам сие ведомо. — Он встал. — Объявить казнь всенародно.

— Никак не можно, — испугался Шигаев. — Войско заропщет.

Емельян помолчал.

— Ладно! Казнить без огласки.

Ночью Лысов был повешен.

А рано утром Емельян сел в седло, вооруженный, готовый к бою с Голицыным, про которого этой же ночью стало известно, что приблизился он к деревне Пронкиной. Пугачев выехал вместе с Овчинниковым навстречу князю, взяв тысячу конников при десяти пушках на полозьях, и за два дня по большому снегу в сильный буран добрался до Сорочинской. Свидевшись там с Араповым, к вечеру пошел дальше. Буран разгулялся пуще прежнего, ни зги было не видно, но Емельян упорно пробирался сквозь снежную мглу. И, одолев за шесть часов ночного похода 37 верст изнурительного пути, с ходу напал на спящих, ничего не ведавших императрицыных солдат. В коротком бою, сняв караулы, ворвались пугачевские конники в деревню, убили правительственного командира, отвоевали пушки. Но вскоре выяснилось, что была это только головная голицынская часть, а с тыла ударила другая, и Емельян отступил. Оставив Овчинникова с войском в Сорочинской, помчался обратно в Берду с тем, чтобы поднять для отпора неприятеля всю Главную армию.

При каждом шаге теперь все более убеждался он, как невосполнимо упущено время, которое мог бы он употребить с пользой на военное снаряжение своей толпы! А теперь уже было поздно, да, поздно, ибо оставались считанные дни до решительной битвы с грозным врагом, который неудержимо двигался на Берду.

Но на Берду ли? Пугачев не знал точно. А может, Голицын свернет к Яику? Поэтому, оставляя

Овчинникова в Сорочинке, Емельян повелел не вступать в бой, а убираться со всей двухтысячной силой в Илецкую крепость. И сам тоже, забрав в Берде тьму-тьмущую людей и 20 орудий, выступил в сторону Илецкого городка. Но, проходя мимо Татищевой крепости, решил встретить Голицына именно здесь.

С того памятного сентябрьского дня, когда повстанцы одержали самую первую крупную свою победу у этой крепости, стояла она сожженная, разоренная и брошенная. И вот теперь, полгода спустя снова придя сюда, принялись остервенело налаживать ее. Перво-наперво приказал Емельян мастерить стены из снега, так как никакой огорожи не было, и, накидав вокруг изрядные сугробы, облили водой, а на тех замерзших возвышениях ставили пушки. Емельян собственнолично проверял каждую такую ледовую батарею. Он измерил, на сколько саженей от пушек удалены разные места в степи перед крепостью, а потом обозначил те места колышками, как пределы, до которых канониры должны метать ядра. Приставлены же к пушкам были люди знающие, солдаты пленные.

Из показаний Ивана Почиталина при допросе 8 мая 1774 года:

«А лучше всех знал правило, как в порядке артиллерию содержать, сам Пугачев».

Из показаний Максима Шигаева при допросе в Секретной комиссии:

«По неустрашимости своей он всегда был напереди и подавал собою пример прочим. Так же знал он правильно, как палить из пушек, из других орудий и указывал всегда сам канонерам».

20 марта лазутчики донесли, что Голицын со своим войском уже рядом. Емельян созвал военный совет и объявил, как он решил встретить врага. Он приказал строго-настрого без его ведома никому из пушек не палить и никакого шума не поднимать, а наоборот, вобраться всем за снежный вал внутрь крепости и схорониться без малейшего звука. Это было мудрено сделать — под началом Емельяна оказалось здесь около десяти тысяч человек — казаков и крестьян, и нерусских народностей, да еще с лошадьми.

22 марта утром у крепости появились передовые отряды голицынского войска. Татищева стояла безмолвная, будто вымершая. Голицын послал в разведку трех верховых казаков. Тогда Пугачев, Арапов и Овчинников, стоящие у ворот, выслали подговоренную ими казачку-жительницу, чтоб сказала, будто в крепости никого нет. Пугачев рассчитывал, что, проведав о том, Голицын двинет войско уже без опаски, а они сомнут его. Но казаки, поговорив с женщиной, поехали дальше, прямо в ворота, и, приметя, что крепость забита народом, повернули назад. Пугачев, Овчинников да Арапов кинулись к ним и одного свалили с лошади. Двое все-таки ускакали прочь.

Упавший раненый сообщил, что армия у князя сильная — пять тысяч пехоты и артиллерия семьдесят пушек. А он уже двинул ту армию, начал палить по крепости.

Емельян, как и решили на совете, стрелять пока не велел, чтоб «наждать на себя» врага, не теряя напрасно ядер.

В напряженном ожидании замерли Емельяновы полки. Неотвратимо близилась минута боя, когда сила столкнется с силой. Нельзя уклониться, нельзя уйти. Осталось одно из двух — либо одолеть, либо пропасть. Кто же осилит?..

Это было крупнейшее сражение за всю историю пугачевского восстания. Оно продолжалось непрерывно несколько часов, ожесточенное и кровавое.

Пугачев открыл артиллерийский огонь, однако, по его собственному признанию, Голицын завел войско в лощину, и пушки ему мало вредили. Тем не менее свыше трех часов длилась яростная орудийная дуэль. Потом Голицын предпринял штурм. Он разделил нападающих на две колонны и приказал генералу Фрейману идти на приступ с той стороны крепости, где она была слабее всего оснащена артиллерией. Пугачев молниеносно переставил батареи. Солдаты Фреймана бросились на оледенелый вал. Пугачев ответил контрнаступлением. Его конница, вынесшись из крепости, вступила в бой с правительственными войсками. Сам Пугачев на коне был впереди. Бились с переменным успехом. Но в один из самых острых моментов полковник Ю. Бибиков послал егерей на лыжах по глубокому снегу занять выгодные высоты.

Лыжники ударили повстанцам во фланг. Это решило исход баталии — пугачевская конница дрогнула. Голицынские войска вошли в крепость.

Под натиском хорошо вооруженных солдат регулярной армии повстанцы стали отступать. В крепости пало более тысячи человек. От крови взбух полноводный в марте Яик. Трупы валялись на протяжении всех двадцати верст на дорогах, по которым каратели преследовали бежавших повстанцев.

Так через полгода после своей первой победы у этой крепости Пугачев здесь же потерпел и первое свое жестокое поражение — потерял фактически все свое войско: более двух тысяч убитыми, свыше пяти тысяч ранеными и пленными, все 36 орудий.

Служебным рапортом А. И. Бибикова удостоверено, что правительственные войска потеряли 635 человек и 22 орудия.

Князь П. М. Голицын — генералу А. И. Бибикову:

«Дело столь важно было, что я не ожидал такой дерзости и распоряжения в таковых непросвещенных

людях в военном ремесле, как есть сии побежденные бунтовщики».

А. И. Бибиков — московскому генерал-губернатору князю Волконскому, 26 марта 1774 года:

«...Преодолев все трудности, одержали 22-го марта при крепости Татищевой, в 52-х верстах от Оренбурга совершенную и полную победу над самим самозванцем. Сей злодей имел сонмище свое в 9 тысяч изменников, которое по шестичасовом огне разбито — и крепость взята с 36-ю большими орудиями. На месте побито изменников около 2000. Положено 3000 с лишком, в том числе более 600 яицких воров казаков... Неизвестно еще, жив ли сам злодей или нет».

А. И. Бибиков — жене из Казани, 26 марта 1774 года:

«...То-то жернов с сердца свалился. Сегодня войдут мои в Оренбург. А сколько седых волос прибавилось в бороде, то бог видит. А на голове плешь еще более стала».

Фанфарным громом победы над Пугачевым российское правительство поторопилось оглушить весь мир. Коллегия иностранных дел составляла специальные статьи для заграничных газет. Послы европейских держав информировали свои правительства. Екатерина II лично писала французскому писателю Мельхиору Гримму:

«Оренбург освобожден, и по моему предсказанию этот фарс кончится ударами и виселицами».

Про удары и виселицы царица могла говорить с уверенностью: уж она-то прекрасно знала, какую серию жестоких репрессий обрушила на участников пугачевского движения ее правительственная машина.

26 марта, в день, когда Голицын вступил в Оренбург, подпол-

ковник Михельсон под Уфой наголову разбил армию Зарубина. Сам Зарубин был схвачен вместе с Ульяновым и посажен в тюрьму. Несколько ранее Гагрин нанес серьезное поражение Белобородову на Урале. Белобородов отступил, но район восстания был фактически ликвидирован. Тюрьмы Уфы, Оренбурга, Казани и других городов были переполнены. Вереницы пленных и арестованных тянулись по непролазным из-за весенней распутицы дорогам. Допросы «с пристрастием» не прекращались ни днем ни ночью в подвалах секретных комиссий. Публичные казни, наказания кнутом, вырывание ноздрей и клеймение производились для устрашения обывателей повсеместно.

Дворянство ликовало. Поздравления Екатерине в Петербург поступали со всех губерний. В ответ императрица щедро раздавала награды усмирителям: Бибиков был повышен в чине, Голицын получил поместье, генералы Фрейман и Мансуров ордена. Но в суетной радости по поводу победы над Пугачевым сквозила невысказанная тревога всех крепостников. Желанного покоя для них в стране не было. И полного смирения черни добиться не удалось. Да и где сам-то Пугачев? Недаром генерал Бибиков заканчивал свое письмо к Волконскому такой беспокоящей его сердце фразой: «Неизвестно еще, жив ли сам злодей или нет...»

Когда под Татищевой царские войска стали брать верх, Овчинников сказал Пугачеву:

— Уезжай, батюшка, чтоб тебя не захватили, дорога еще свободна, войсками не занята...

Емельян огляделся:

— Хорошо, я поеду. Но и вы смотрите, коль можно стоять — стойте, а горячо будут войска приступать, так и вы бегите, чтоб не попасться.

И, взяв с собой Почиталина да еще ближайших способников, выбрался из гущи баталии, поскакал прочь. Его заметили голицынские конники — чугуевские казаки, погнались и преследовали версты три, но отстали. Поздно вчером он сам-пят примчался в

Берду, взбудораженный боем, погоней и мыслями о понесенных потерях. Созвав главных советников — Шигаева, Витошнова, Чумакова, Творогова, Арсланова, Подурова, — объявил им о разбитой армии под Татищевой. Все сделались пасмурные. Тогда Емельян сказал:

— Ничего, детушки, когда нам в здешнем краю не удастся, пойдем прямо в Петербург.

И велел подать всем по чарке вина для взбодрения.

Но куда же идти? Петербург Петербургом, а допрежь надо бы отдалиться от Голицына.

— Двинемся к Яику, — начали снова уговаривать яицкие.

— Нет, государь, — сказал Арсланов. — Лучше поехали к нам в Башкирию.

Как ни решай, только сейчас-то свободный путь из Берды один — через Каргалу да Сакмару. И главное — уйти поскорее.

Пугачев приказал, не мешкая, сниматься. Зашевелился лагерь, загудел в сборах, казаки и калмыки снаряжали коней, громоздили в кибитки и на сани поклажу. Для подъема духа Емельян велел раздать всем вина, и выкатили бочки, да больно разошлись в гульбе некоторые, и тут же велел «государь» прекратить празднество; разбили остатние полные бочки, и полилось вино прямо по улицам, перемешиваясь с мутной и холодной мартовской снежницей.

Сам Пугачев тем временем сколачивал пятитысячный отряд из доброконных казаков и расставлял караулы по дороге к Оренбургу, чтоб удержать переметчиков, — застрашились иные из яицких, к перебежке склонялись... А Шигаева послал на Высокую гору — посмотреть, не идут ли голицынские войска из Чернореченской...

Из показаний Максима Шигаева в Секретной комиссии Яицкого войска 8 мая 1774 года:

«А как он, Шигаев, туда, на Высокую гору, поехал, то пристал к нему и прибежавший с самозванцем из Татищевой яицкий казак Григорий Бородин, который дорогою зачал ему говорить: «Что, брат Максим? Нам теперь вить не устоять? Не лутче ли нам связать его, то есть самозванца, и отвести в Оренбург». На что он, Шигаев, сказал: «Как-де нам это одним сделать можно! Хорошо, есть ли бы много нас согласилось». А Бородин сказал: «Я-де уже о этом человекам четырем говорил, и они на то согласны». На что он Бородину сказал: «Так поезжай же ты, брат, назад и уговаривай других». Почему Бородин в Берду и поскакал.

...И, быв он, Шигаев, с двумя своими казаками на половине дороги, попались им навстречу скачущие из Берды человек с десять казаков, и, поравнявшись с ними, бывший в числе тех казаков яицкой хорунжий Трофим Горлов говорил ему, Шигаеву: «Тьфу, чорт тебя возьми! Государь-де думал, что и ты с Бородиным ушел!»

...Как же он, Шигаев, приехал к самозванцу и сказал, что с горы ничего не видно, то самозванец спросил его: «Не видал ли ты Бородина?» ...И говорил: «Вить ты не знаешь, что он сделал: зачал было подговаривать многих, чтоб меня связали и отвезли в Оренбург, но спасибо-де казаку Горлову — он мне донес об этом. Бог-де его, что он убрался. А то бы нонче повесил... И потом приказал тотчас убираться всем в поход...»

Они выступили из Берды, и, когда уже приближались к Каргале, Пугачеву донесли еще об одной измене: каргалинский старшина Муса Алиев коварно

схватил и отправил в руки оренбургских властей верного Емельянова полковника Хлопушу. Хлопуша повез из Берды семью — жену и сына и, проезжая через Каргалу, удумал просить у Мусы Алиева подмоги людьми «Петру III». Но ответил Муса черным предательством.

Войдя в Каргалу, Пугачев приказал казнить Хлопушиных погубителей. Сам же сразу пошел дальше, в Сакмарский городок. Сзади неотступно наседал Голицын.

Емельян чуял — уже не тот дух в его толпе, чтоб сражаться. Яицкие норовят откачнуться, а пешие крестьяне без ружей — что за супротивники регулярному воинству? Не устоять им перед голицынской ратью.

И не устояли. 1 апреля под Сакмарский городок привалила команда Голицына и стала стрелять из пушек. А у Пугачева пушек было мало. И не выдержали его люди, побежали. Четыреста человек остались лежать на поле боя, около трех тысяч опять попали в плен, другие рассеялись кто куда мог по окрестным местам.

Емельян с небольшим числом казаков, ускользнув от поимки, прискакал в Ташлу, а наутро побежали далее.

Сильная грязь придерживала голицынских пехотинцев и артиллерию, Емельян же с конниками отмахал во всю прыть до Тимашевой слободы, только что накормив лошадей, поскакали опять — на Красную Мечеть и, тем оторвавшись от Голицына, получили роздых. В Красной Мечети, ночуя, опомнился он.

Было теперь казаков всего ничего... А тех, кто близко к нему стоял, и вовсе наперечет. Под Татищевой пропали Данила Скобычкин и Речкин, а Овчинников вырвался и ушел на Яик, к Перфильеву, но туда,

говорят, уже спешит генерал Мансуров. У Сакмары же забраны в полон все главные емельяновские способники — Максим Шигаев и Подуров, старик Витошнов и Ванюшка Почиталин, секретарь коллегии Горшков и Тимофей Мясников. А толмач Шванович в Берде остался, тоже, видать, пропал. Если же про иные края речь — и того тошнее на душе: Зарубин-Чика в плену, и Грязнов сгинул. А Салават, Канзафар, Белобородов? Где их сила недавняя? Везде крах, кругом провально...

Емельян сидел в отведенной для него избе в Красной Мечети, тяжело облокотившись на стол, мрачно оглядывая оставшихся при нем, — напереди Творогов и Чумаков, да Егор Кузнецов, брат Устиньи-«царицы», свояк, а чуть подале — Трофим Горлов, который про Гришку Бородина раскрыл, Василий Плотников — этот с первых дней от Талового умета идет, как и Сидор Кожевников, и нерусские тут — Кинзя-башкир, толмач Идорка. Все опечалены, невеселые... А вот верные ли?

Еще на Яике показал себя «родственничек» Семен Шелудяков. Или брат Творогова Леонтий в Илеке. Митька Лысов покусился... А каргалинский Муса — до чего уж надежным прикидывался, схватил же Хлопушу.

От кого еще ждать измены?

А может, и все они перед Емельяном стоят лишь потому, что пути нет назад, — и не пощадят их Катькины генералы, вот и готовы поневоле служить ему, смиренно ждут, что скажет.

А что говорить? Порушилось все с таким тщанием сложенное. Не лучше ли теперь отступиться и утечь от власти в места потаенные? Но нет! Не таков Емельян. И не затем он затеял серьезное дело, чтоб с первого невезения опускать руки.

За окнами вспыхнул разноголосый шум, галдеж, говор казачий, конское ржание.

— Что там? — дернулся Пугачев, отрываясь от тяжких дум.

Творогов глянул:

— Команда до вашей милости. С-под Татищевой догоняют.

— Много ль нас уже?

— Полтыщи будет, ваше величество.

— Так вот! — Емельян встал, как обычно, непреклонный в «монаршей» своей воле. — Так и останется. Будем сызнова силу крепить.

— А пойдем-то куда? — слюбопытничал Чумаков.

Емельян еще раз оглядел соратников, задержал глаза на Арсланове.

— А пойдем в Башкирию. Кинзя давно нас туда кличет.

— Да, да, государь, айда! Если туда пойдете, я вам через десять дней снова хоть десять тысяч башкирцев поставлю.

— Ну и добре! — утвердил Емельян. И добавил довольный: — Народу у меня везде как песку. Вся чернь, только услышит, примет с радостью...

ГЛАВА 9. В СТЕПЯХ БАШКИРИИ, В ГОРАХ УРАЛА

Пугачев не ошибся. Уйдя из-под Оренбурга в начале апреля с небольшим отрядом, он уже через три недели имел опять двухтысячную армию.

Опорным пунктом для него стал Белорецкий завод. Сюда съехались новые сподвижники, здесь была восстановлена Военная коллегия. Вместо прежних ее руководителей, погибших или попавших в плен, Пугачев назначил новых. Главным судьей он определил Ивана Творогова. 4 апреля за подписью Творогова и

новых секретарей Григория Туманова и Шундеева был составлен и отослан Белобородову на Саткинский завод указ собирать людей. Подобные указы Творогов рассылал во все концы. Сдержал слово и Арсланов: поднял башкир.

У башкир были свои счеты с русским самодержавием. Они ненавидели купцов и заводчиков, которые скупали обманным путем привольные башкирские земли и, сгоняя с родных мест исконных жителей, строили заводы и рудники. Возмущались этим не только бедняки, но и богатые старшины. Вот почему к Пугачеву охотно присоединялись представители всех слоев башкирского населения. Правда, вскоре иные из старшин предали повстанцев, но многие остались стойкими до конца. К их числу относятся и сам Кинзя, и Канзафар Усаев, Салават, его отец Юлай Азналин.

Башкиры пошли в пугачевскую армию еще активнее, когда местные власти и каратели, присланные из Петербурга, начали с неслыханной жестокостью расправляться с участниками восстания.

Надо заметить, что Екатерина и ее правители всячески стремились в глазах русского народа, да и всего мира, представить Пугачева «злодеем», «вором», «разбойником и чудовищем», «извергом рода человеческого».

Екатерина так писала Вольтеру:

«Я охотно удовлетворю, сударь, ваше любопытство насчет Пугачева... Мне кажется, что после Тамерлана ни один еще не уничтожил столько людей. Прежде всего он приказывал вешать без пощады и без всякого суда всех лиц дворянского происхождения, мужчин, женщин и детей, всех офицеров, всех солдат, которых он мог поймать; ни одно место, где он прошел, не было пощажено...»

Эта «монаршая аттестация», данная вождю крестьянской войны в России, откровенно извращает факты. Да, конечно, Пугачев выступал против дворян и ставил своей целью лишить их самодур-

ской власти над крепостными крестьянами, мечтал отобрать у них деревни, хотел заставить их тоже трудиться — «служить». Но мы уже видели, что он удерживал яицких казаков от ненужного кровопролития, оставлял в своей армии дворян-офицеров, если они не оказывали сопротивления, предписывал своим полковникам не устраивать грабежей, не разорять селения и заводы.

Только слишком глубокой была ненависть, которую вызывали у крестьян дворяне-помещики, у работных людей заводские приказчики, а у нерусских народностей царские чиновники. И во многих местах поднимающийся на борьбу простой люд творил самосуд. Пугачев же не хотел лишних жертв. Стоит привести свидетельство солдат из корпуса Де-Колонга, которые, заняв крепость Троицкую, оставленную Пугачевым, нашли в ней много дворянских семей — «обывателей духовных, благородных фамилий, обоего пола до 3000 человек». Иными словами, повстанцы не были бессмысленно кровожадны и безжалостны к своим пленным, как расписывала русская императрица.

Как раз она-то сама, да и все ее генералы, подавали куда более яркий пример жестокосердия. Тот же Де-Колонг, вступив в Челябинск, зверски расправился с «бунтовщиками-горожанами». А в Уфе, взятой Михельсоном, был построен на реке дом с прорубью — пленных вталкивали туда, и они тонули. У народа этот «дом» прослыл страшной «тайной тюрьмой».

Подобные случаи зверской расправы с пугачевцами были уже не проявлением «стихийной личной инициативы» отдельных усмирителей «бунта». Это была строго продуманная система правительственных мер по борьбе с восставшим народом. Генерал А. И. Бибиков, едва прибыв в Казань, разослал подчиненным офицерам инструкцию, которой неукоснительно предлагал вешать пленных всенародно, дабы устрашать население. И царица одобряла действия своего главнокомандующего. 9 февраля она писала Бибикову: «Сию строгость нахожу весьма нужной».

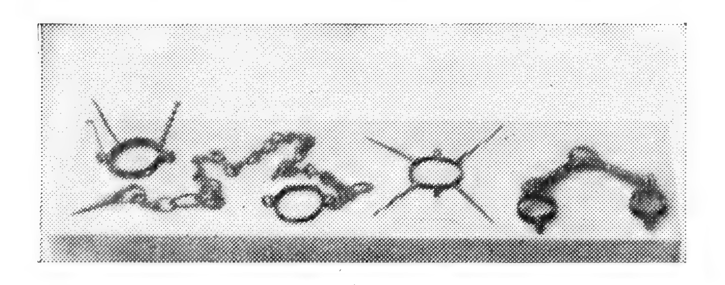
Могла ли она писать и думать иначе, если даже место, с которым связывалось имя Пугачева, вознамерилась стереть с лица земли! 6 февраля, то есть в те же дни, когда выражала она одобрение

действиям Бибикова, по личному ее указанию на родине Пугачева, в станице Зимовейской, было устроено всенародное зрелище — «сожжение злодейского дома».

Жена Пугачева Софья Дмитриевна незадолго перед этим продала дом в другую станицу. Теперь его снова перевезли в Зимовейскую, поставили на прежнее место и, согнав жителей, сожгли дом со всеми надворными постройками. Уничтожили и плетень, вырубили в саду фруктовые деревья, а пепел развеяли по степи. Голый же пустырь окопали рвом «для оставления на вечные времена без поселения» и посыпали солью в знак того, что безжизненное сие место проклято и властями, и богом. А жену Пугачева и трех его малолетних детей Екатерина приказала арестовать и посадить в тюрьму — их отправили в Казань.

9 апреля, когда Пугачев был уже на Белорецком заводе, неожиданно умер главнокомандующий правительственными войсками А. И. Бибиков. Он заболел в Бугульме, там не нашлось врача, и сорокачетырехлетний генерал-аншеф — «усердный в деле и душою преданный государыне» — ушел, как говорится, в мир иной, видимо, с чувством исполненного долга: ведь в тот момент все каратели считали, что дело усмирения «бунтовщиков» ими почти завершено.

Оставшийся временно замещать Бибикова князь Голицын приказал командирам всех частей продолжать преследование Пугачева.



Орудия наказания XVIII в.

Однако они «потеряли» его. И долгое время вообще не знали, где он скрывается.

2 мая, ровно через месяц после сражения под Сакмарским городком, Пугачев сам дал знать о себе. Он выступил из Белорецкого завода; при этом завод был полностью разрушен.

Если в первый период восстания Пугачев рассылал указы, которыми строго-настрого предписывал оберегать уральские заводы, чтобы использовать их для производства пушек и ядер, то теперь его методы борьбы стали другими. Безжалостное отношение карателей к восставшим, к их семьям и даже к их небогатому имуществу породило ответную непримиримость, то море истребительного огня, которое отныне оставляла за собой хлынувшая по Башкирии и по Уралу возрожденная повстанческая армия.

6 мая с боем, в котором Пугачев был ранен картечью в левую руку, повстанцы заняли Магнитную крепость. Здесь к Пугачеву присоединились атаман Овчинников и Афанасий Перфильев. Овчинников после сражения у Татищевой крепости отступил к Яицкому городку, но под натиском генерала Мансурова был вынужден вместе с Афанасием Перфильевым уйти и оттуда. С большими трудностями они оба совершили длинный путь, разыскивая Пугачева, и добрались до него лишь в Магнитной крепости. А на другой день сюда же явился Иван Белобородов.

Обрадованный пополнением и встречей с соратниками, Пугачев устремился дальше на северо-восток. За десять дней, двигаясь Уральскими горами, повстанцы дошли до Троицкой крепости — от нее оставалось всего сто верст до Челябинска.

Навстречу Пугачеву из Челябинска несколько раньше вышел генерал Де-Колонг. Но благодаря умелому маневрированию повстанцев он не смог их обнаружить, и ему пришлось гнаться за ними, лицезрея разрушенные мосты, переправы и дымящиеся развалины селений.

20 мая пугачевская армия, в которой к этому времени опять насчитывалось свыше 10 тысяч человек при 30 орудиях, овладела Троицкой крепостью. Боем руководил Белобородов: Пугачев, стра-

дая от раны, полученной у Магнитной крепости, лежал в палатке.

На следующий день Де-Колонг все же отыскал лагерь Пугачева в полутора верстах от Троицкой. Произошла многочасовая битва. Несмотря на рану, Пугачев принял участие в сражении, сидя в седле. Правительственные войска победили. Де-Колонг свидетельствует:

«Сколько сам злодей ни усиливал свои отчаянные силы, разъезжая наподобие ветра, удерживать и утверждать, однако остался рассыпанным так, что вся толпа его раздробилась на малые партии и в разные дороги принуждена обратиться в бег».

Поражение было тяжелое: Пугачев потерял более четырех тысяч убитыми и ранеными и почти все орудия. Здесь он лишился новых своих сподвижников — секретарей коллегии Григория Туманова и Шундеева. Однако и корпус Де-Колонга, изнуренный и расстроенный, не в состоянии был преследовать повстанцев. Пугачев и Белобородов, воспользовавшись этим, начали удаляться по дороге к Челябинску. Но через день они столкнулись с другой карательной командой — под начальством Михельсона. Опять произошел бой. Он тоже кончился поражением пугачевцев. Тут от их армии не осталось почти ничего. С остатками разбитых отрядов Пугачев прорвался к реке Миас. И неожиданно вновь получил подкрепление: его ждал с трехтысячной конницей Салават Юлаев. Пришли и работные люди с уральских заводов.

Михельсон не прекращал преследования. С этого момента он фактически сделался самым назойливым противником Пугачева и уже не давал ему покоя до самого конца, до самого последнего сражения под Черным Яром. Плохо вооруженная армия Пугачева больше походила на толпу, чем на армию, и, не выдерживая натиска регулярных воинских частей, легко рассыпалась, рассеивалась. Но Пугачев снова и снова собирал ее и нередко первый дерзко налетал на противника. Эта его способность — молниенос-

но восстанавливать силы и вновь вступать в бой — поражала современников.

Причина успеха подобной тактики Пугачева понятна. Новый главнокомандующий, назначенный Екатериной вместо А. И. Бибикова, князь Ф. Ф. Щербатов в одном из своих рапортов признался:

«Не только одни те места злодейством защищаются, где сам злодей присутственен, но и в далеких повсюду его ждут и приклонением к нему наполняются».

В условиях всенародной войны царские войска продвигались крайне медленно. Им приходилось преодолевать сопротивление местных повстанческих отрядов. Михельсон нередко не мог даже выведать у населения, где Пугачев находится.

Но значит ли это, что Пугачев лишь бестолково метался по Башкирии без всякой цели, меняя направление в зависимости от встреч с преследующим его противником? Нет. У него был определенный твердый план движения. Когда в самом начале он выступил из Белорецкого завода, путь его лежал на северо-восток — к Сибири! И после взятия Троицкой крепости казак Трофим Горлов в присутствии Овчинникова и Перфильева напомнил Пугачеву:

— Ну, батюшка, отсюда станем пробираться на Иртыш.

Об этих планах повстанцев — идти в Сибирь — каратели догадывались. Генерал Де-Колонг писал сибирскому губернатору, что Пугачев имеет «намерение зачать с Магнитной крепости и далее к сибирской линии идти». И князь Щербатов приказывал войскам «пресечь ему дорогу... к сибирским границам», поясняя, что «удаление Пугачева от Сибири более стоит, нежели потеря Челябы». Вероятно, Щербаков основывал такую заботу о защите границ Сибири на мнении Екатерины, которая еще прежде взывала: «Бога для не давайте бездельнику прокатиться в Сибирь, а то зло увеличиться может: сей край очень опасен».

Впрочем, Пугачев наводил страх любым своим направлением,

какое бы ни избирал. Все края Российской империи были «очень опасны» для дворянской власти с точки зрения распространения народной войны. Поэтому нетрудно представить, как отчаянно запаниковала крепостническая Россия, когда Пугачев повернул к Москве.

А это случилось сразу после неудачного сражения под Троицкой. Пугачев отказался от плана — идти в Сибирь и вместе с Салаватом пошел уже не на северо-восток, а на северо-запад. Правительственные войска, не ожидавшие такого внезапного изменения маршрута пугачевской армии, остались в глубине Башкирии.

В Петербурге заволновались не на шутку. Государственный совет по указанию императрицы срочно обсудил вопрос о заключении мира с Турцией. До сих пор Екатерина была против прекращения этой войны — боевые действия в Крыму и за Дунаем разворачивались удачно для русских войск. Однако пугачевский фронт оказался важнее турецкого...

Имя Пугачева к этому времени обросло легендами. Распространялись слухи о его нескончаемых блистательных победах над дворянскими войсками, будто взял он Оренбург и Уфу, а крепости Ново-Троицкую и Чебаркульскую переименовал в Петербург и Москву, построил в степи множество пушечных заводов, отчего у него теперь полным-полно оружия. Даже смерть А. И. Бибикова народ объяснил по-своему: дескать, екатерининский генерал не просто скончался, а увидел «государя», испугался и принял яд, который хранил в пуговице...

В те дни, возможно, возникли многие песни о Пугачеве, которые дошли до нас через два столетия, свидетельствуя о народной любви к своему вождю:

Ой да ты, батюшка Оренбург-город,
Про тебя-то идет слава добрая...
Там ходил да гулял атаманушка,
Атаманушка, казак Емельянушка...
. . . .

Пускай бьется за нас Емельянушка,
Пускай бьется за нужду народную!

Екатерина в спешном порядке — в который уже раз! — перетасовывала списки карателей. Председателем секретных следственных комиссий по делам пугачевцев был назначен генерал-майор П. С. Потемкин, троюродный брат известного фаворита. На следующий же день по прибытии в Казань он доносил императрице, что нашел город в «сильном унынии». «Все жители, начиная от губернатора, приведены в неописуемую робость, так что почти все уже вывозили свои имения».

Потемкин хвастался, что ему удалось «успокоить начальство», и клялся, будто сам он, выйдя навстречу Пугачеву с небольшим отрядом в пятьсот человек, «погибнет прежде, нежели допустит злодеев атаковать город».

Он явно поторопился со своей клятвой.

Никакие новые назначения, никакие перестановки командиров, ни другие хлопоты Екатерины не уберегли Казани. Высланный Потемкиным и губернатором Брандтом отряд из двухсот человек был разбит пугачевцами в сорока верстах от города. В полнейшей растерянности, в диком ужасе перед надвигающейся громадой казанские правители, дворяне, купцы и чиновники трусливо засели за стены кремля. Вместе с ними спрятался Потемкин.

Полгода назад, когда Пугачев стоял в Берде, здешнее «благородное общество» трепетало при одной мысли о «бунтовщике», хотя был он тогда чуть не за тысячу верст. Генерал Бибиков в те дни приложил немало сил, чтобы «укрепить сердца, колеблемые в верности богу, отечеству и всемилостивейшей государыне». А вскоре «злодей» был вроде и разбит наголову. Но вот уже нет на свете Бибикова, а Пугачев жив! И теперь он совсем рядом! Еще более грозный и сильный. Идет по охваченной мятежом Башкирии, оставляя за собой сожженные города и помещичьи усадьбы, неумолимо приближаясь к Волге.

11 июля двадцатитысячное пугачевское войско подступило к Казани.

ГЛАВА 10. НА ГРЕБНЕ ВОЙНЫ НАРОДНОЙ

— Вот вам, братушки, и Казань, — сказал Емельян, придерживая белого скакуна.

Остановили своих коней и прочие, коих взял он с собой. Лагерь разбил у мельницы, в семи верстах отсюда, а сам не выдержал, прискакал поближе. Казань перед ним! Лежит опаленная вечерней зарей и притихшая, уперев в ясное небо пики бесчисленных церквей и мечетей. Кремль на горе, а в серой груде деревянных построек то там, то сям белеют каменные господские хоромы, гостинный двор, монастыри. Неразличимы в такой отдаленности иные дома и лабазы, но мысленно Емельян знакомыми, не раз хоженными улицами пробирается в торговые ряды, где колодником выклянчивал милостыню, и в подворья купцов, у которых колол дрова с арестантом Парфеном Дружининым. С ним и побег учинил...

Год назад было то, а кажется, вечность минула. Не оттого ль так кажется, что вознесся за этот срок на невиданную высоту — убегал безвестным бродягой, а возвращается всенародным предводителем, за государя почитаемым. Мерз он в сырой черной яме под губернской канцелярией, обломили ему руки и ноги тяжелые кандалы, а потом выгоняли на работу на Арское поле. Вот оно, Арское поле. Сколько погнул на нем спинушку Емельян Иванович, прикидываясь перед начальством тихим, набожным и послушным. Сам губернатор Брандт приходил смотреть на них, жалких и несчастных. Да настал час — выпрямился Пугачев!

...Парфен Дружинин отпросился у офицера к знакомому попу для своей нуждишки, офицер отпустил его вкупе с Емельяном при двух конвойных. Одного солдата из малороссиян удалось им еще допрежь

подготовить, второго же опоили у попа вином. На улице ждала кибитка — лошадьми сын Дружинина правил, — сунули пьяного под рогожу, сами прикрылись, и помчал их «кучер» за город. За городом пьяный очнулся: «Што, брат, долго едем?» Емельян ответил, смеясь: «Видишь, кривой дорогой везут». И, остановив телегу, ссадили солдата, ударив лошадей, помчались дальше.

Где вы теперь, беглецы-сопричастники Парфен Дружинин да солдат Мищенко? Губернатор-то Брандт по-прежнему в Казани начальствует, за стенами сейчас укрылся, простить себе, поди, старичишка не может, что упустил в ту пору острожника Пугачева...

Емельян оглянулся. За спиной его нынешние соратники, притихнув, Казань рассматривают. У каждого свои думы: путь пройден немалый. Не оскудевает у Емельяна ватага советчиков, но запечалилась его душа: нет рядом Зарубина-Чики, Подурова, Арапова. Либо убиты, либо в Катькиных тюрьмах томятся, а ведь и для них с первых дней похода заветной мечтой было к Казани выйти, чтобы потом на Москву двинуться.

Вот и Салават до сего рубежа не дошел. А был бы Емельян рад видеть сейчас этого башкирца за своей спиной. В самую нужную минуту приспел Салават с трехтысячной конницей. И три недели потом неразлучно скакали по исетским станицам. Познал Емельян за это время Салавата лучше, нежели в Берде при первой быстролетной встрече, когда, оценив в нем отвагу, нарек походным полковником. Теперь тоже в чине возвысил — в бригадиры произвел. Башковитый джигит. На десять лет моложе Емельяна, а есть чему поучиться: грамотой по-башкирски и по-русски разумеет. Кинзя Арсланов про него еще в Берде сказывал: с учеными людьми Салават знаком. В Оренбурге

за стенами какой-то академик Рычков хоронится, так и его знает, и сыновей его. И сам песни складывает. Об этом тоже Кинзя разъяснял — с почтением, гордясь соплеменником. Емельян попросил как-то Салавата: «Спой мне». Не заломался тот, спел. Тягуче, жалобно выводил — непонятно, по-своему, а потом, посверкивая черными глазами, улыбаясь, перетолмачил: дескать, про родные леса да рощи сложил, про воды и горы Уральские, про родину свою святую. «Люблю я вас и любить буду».

Слушая, думал Емельян: выходит, и русские и нерусские одну землю любят и заедино жить хотят пристойно, заедино и против бояр да заводчиков поднимаются. Кинзя еще говорил, что призывает Салават своими песнями к победе: «Иди на бой ты смело, везде врагов рази!» Вот какие башкирцы есть! Посмекалистее иных петербургских царедворцев. И не воевать бы им — это уж служилых казаков дело! — а сочинять песни складные.

Очень Емельян песни любил, за живое берут, особливо одна:

Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати...

Но некогда распевать и слушать. И Салават свое для Емельяна отпел — под Осой его тяжело ранило, отъехал он домой лечиться. Расставались навсегда, и стосковалось Емельяну — привык.

Впрочем, и печаловаться тоже некогда. Жизнь у Емельяна теперь переменчивая. То удачей обогреет, то бедою ударит. Однако ни разу не поддавался Емельян отчаянью, не колебался духом. И хотя не носит он при походе никаких знаков отличия — крестов да лент со звездами, — заметен от прочих не просто доб-

ротным казачьим одеянием, но отменной бодростью и выносливостью. Жажду и голод терпит заодно со всеми, в жару и холод с седла не спрыгивает по трое суток.

Зато каждый шаг пройденного пути сколько седых волос примножил! Чего стоит одно гренадерское опознание «государя» под Осой. Комендант сказал, что сдаст город без боя, ежели уверится, доподлинный ли перед ним император. Дескать, есть у него отставной гренадер, который, служа в столице, видел живого Петра Федоровича. Вот и должен он посмотреть: самозванец или природный царь подступил к их крепости.

И пошел Емельян на риск, вырядился в простой кафтан, дабы не выделяться ничем от прочих казаков, коих выстроил два десятка в шеренгу, и стал среди них. А седоусый отставник пустился не спеша вдоль ряда, зорко вглядываясь в каждое лицо. Напрягся Емельян всем телом, глаз с гренадера не спуская: как проявить себя, чтобы на другого не указал? И едва подошел ближе, да замешкался на секунду, Емельян и пришил его взглядом, уловив тот единственный миг. Спросил усмешливо:

— Что, дедушка, узнал меня?

Смутился старик:

— Бог знает. В то время был ты помоложе, без бороды, а теперь в бороде и старее.

— Так смотри, смотри, узнавай хорошенько, коль помнишь, — насел на него Пугачев и пригрозил: — А то ведь всех я вас смерти предам.

Не это ли устрашение и помогло? Гвардеец снова уставился:

— Да, да, кажись, похоже на государя.

— Ну, так поди ж теперь офицерам скажи это! — приказал Емельян.

А остался один в шатре и холодный пот с лица утер — измеришь разве, что вытерпел за недолгий разговор?

От Осы потом двигались ходко. Встречали их везде хлебом-солью, с колокольным звоном. В селе Гольянцы живого двухметрового осетра поднесли в корыте! Емельян по-торжественному наряжался — в парчовой бекеше, в красных сапогах, в шапке из церковных покровов стоял под знаменами у палатки.

Напомнило ему все это первые дни, когда шли от Яика до Оренбурга — так же играючи крепости забирали. Вот и здесь за двадцать дней прокатились по Каме до Казани и по всему этому тракту, по деревням татарским и русским люди к нему сбегались самоохотно. А по слухам, простолюдины в отряды сбираются на всем правом берегу Камы. Неужто же с такой силой Казань не взять?

Пугачев оглянулся. Неипервейший из его командиров сейчас — Иван Белобородов — конь в конь рядом.

— Послушай, Наумыч, к ночи разведаешь, особливо где рогатки. Батарею перед городом, кажись, вороги ставят.

— Разведаю, — кивнул Белобородов.

Емельян повернулся к Овчинникову:

— А ты, атаман, как в стан вернемся, готовься обратно сюды ехать — манифест Брандту повезешь. Дубровский творит его уже.

— Будет исполнено, государь, — ответил и Овчинников.

Емельян поманил безусого красавчика — Минеева. С-под Осы согласился поручик «Петру III» служить, уверил, будто хорошо знает Казань и при наскоке на оную может оказать помощь.

— Ну а ты, господин-сударик, что скажешь? Где,

по твоей знаемости, лучший подход к форштадту, откель наступать нам?

Минеев стал объяснять, указуя рукой:

— Надобно, ваше величество, не супротив Арского поля, тут у них главная городская батарея, а с правого крыла — видите буерак на буераке? Там из лощины в лощину через высоты, пушечным выстрелам подверженным, можно переползти и таким манером в овраги забраться, а овраги те уже у границы предместья.

Емельян посмотрел на дворянчика пристально.

— Кумекаешь недурственно. Только как же, скажи мне, конники буераки твои переползать будут?

— А тут не конников пускать придется, пеших.

Емельян подумал.

— Добре, токмо пеших ты и поведешь. Даю в придачу к твоему полку горнозаводских людей, командуй!

— Слушаюсь, ваше величество! — отчеканил тот.

Стеганув коня, Емельян помчался в стан. В шатре из белого войлока сбросил саблю, развалился на покрытой персидским ковром тахте. Тут подступил с бумагой в руках Творогов:

— Извольте выслушать, государь. Манифест для казанцев Дубровский изготовил. Закрепите.

Взяв бумагу, Емельян спросил:

— Где же сам писчик? Пущай придет.

Творогов усмехнулся: не доверяешь, государь?

Да, Пугачев уже не доверял Творогову. Завсегда не нравилась Емельяну его скрытность, а за последнее время сделался он вовсе замкнутым. Былая услужливость его обернулась чистой льстивостью, исполнительность — подобострастием. Старался о деле, однако путно в явном зле его Емельян уличить не мог. Но чуял в нем непрестанно подвох — то взглянет не





так, то хмыкнет не к месту, то заступается не за того, кому защищение делать надлежало бы.

Все больше из доверия Емельяна выходят яицкие казаки.

Вот и с Белобородовым едва не обманули.

Еще в бердинскую пору послал Пугачев под Екатеринбург к Белобородову атамана Голева. Да запьянствовал Голев, начал непорядки творить — Белобородов возьми и заарестуй его, даром что самим «императором» атаман прислан: заковал в цепи и отправил назад в пугачевский стан с соответствующей реляцией. По реляции правда всплыла, и осерчал Емельян, разжаловал Голева из атаманов. Яицкие за него заступаться не стали — не казак, из дворян — унтер, не их, мол, забота...

Но вот второй случай вышел... Отправили к Белобородову илецкого казака Шибаева. Ванька Шибаев и видом невзрачный, и нравом гадкий — хвастливый, задиристый, чуть что, кулаки в ход пускал, фардыбага. Но дружок Творогова. Коллегия назначила его к Белобородову с правами немалыми. Да занесся есаульчик сверх меры — грабил, бесчинствовал. Белобородов по жалобе жителей и его, как Голева, в кандалы заковал.

Тут уж распалились яицкие, особенно Творогов. Как? По «государеву» указу посланного казака схватить? А Белобородов как раз в это время, несмотря на указ, не явился на соединение в войско «его величества» в Белорецкий завод. И Шибаев в рапорте его оклеветал безмерно: «Отложиться он желает от вашего величества, не хочет служить по верности». Было отчего Пугачеву засомневаться. Когда Белобородов показался в их пределах, яицкие-то и скрутили его, обезоружили, привели к Пугачеву как изменника. С хмурой настороженностью встретил Емельян горнозаводского ата-

мана, ждал, какие он сочинит для себя оправдания. А Белобородов подошел не спеша, припадая на левую ногу — колченожил он малость, — и поклонился с почтением, однако без раболепства. Сказал просто:

— Как служу тебе, государь, спроси про то у любого из моего войска, а войско под свое начало прими хоть сей миг.

Посмотрел Емельян на спокойное лицо бородача, по годам ему равного, взгляд открытый, глаза голубые, чистые, достойно стоит, как человек, за себя безбоязненный, в правде уверенный, в деле твердый. А дело и спор решает!

Емельян сел на коня, приказал Белобородову за собой скакать. За крепостью же в степи отменной выучки горнозаводская дружина преклонила ему свои знамена. Пугачев поблагодарил командира за доброе воинство, да узнал, отчего Белобородов не сразу прибыл: задержало весеннее бездорожье. И обо всех шибаевских разгуляниях узнал. А потом выведал о самом Белобородове — из крестьян он, солдатом-канониром был, грамоту знает, от царской службы еле хромотой отвязался, за вольность заводских людей готов до конца сражаться — добровольно пришел к Канзафару, когда тот на Урале начал скликать людей по указу «Петра Федоровича».

Отличил себя умом и мужеством горнозаводский командир. В Карагайскую крепость поехал один, жизнью рискуя, и уговорил коменданта сдаться. Под Троицкой раненого Емельяна замещал, и крепость одолели. Под Красноуфимском расхлестал и с гиком несколько верст преследовал правительственную команду! Когда же на Осу учиняли наскок, двинул возы с подожженным сеном. Сам был ранен в ногу, а с коня не слез.

Удивился Емельян, когда все это узнал: неужто яицкие ничего не ведали, обвиняя такого человека в измене? Белобородов сказал: «Как не ведали? Я им толковал. Не поняли...»

Творогов привел писаря. Вошли и советчики-полководцы. Стало в войлочном чертоге у «царя» людно. Увещевательный указ для казанцев писарь Дубровский огласил вслух. Емельян передал бумагу Овчинникову: «Вези!» Атаман тут же вышел, поскакал до Казани.

А Пугачев начал с полковниками совет держать — о завтрашнем приступе к городу. Удумал он разделить свое войско на четыре колонны — одну определил для себя, другую отдал Белобородову, еще на две поставил Овчинникова и Минеева.

Не успели командиры отсовещаться, примчался обратно Овчинников: казанские власти указ не приняли, только бранятся.

— Ну нехай, — ответил Пугачев. — Как аукнется, так и откликнется. Не лисий хвост, так волчий зуб! Ступай теперь, Наумыч, — напомнил он Белобородову, — разведай же все потребно, а утром паки совет учиним.

Все вышли из палатки. Творогов задержался.

— Что тебе еще? — спросил Емельян.

— Да вот, — замялся тот. — Приезжий Иваныч-то отъехать просится.

— Купчишка? — нахмурился Емельян.

Будь он тоже неладен! Под Осой явился этот купчишка, сказал, будто от самого наследника Павла Петровича послан. Немолодой уже, росту небольшого, лицом смуглый и со щербинами, при бороде окладистой, черной с проседью, едва вступил в шатер, «царю» в ноги бухнулся:

— Ваше императорское величество, примите подарки от его высочества! — И вынул из кожаной су-

мы-кисы черную шляпу, обшитую золотым позументом, да сапоги желтые, да перчатки, тоже золотом шитые.

— Благодарствую, — сказал Емельян, принимая подарки и с духом сбираясь, как сподручнее вести беседу с этим плутом. И начал выспрашивать приезжего, каков-де там наследник, велик ли стал.

Бойко отвечал приезжий:

— И велик, и здоров, слава богу. Да его уже и обручили на немецкой принцессе Наталии Лексевне. А вить я и от нее, ваше императорское величество, подарки привез, два камня, токмо в возу они далеко запрятаны, после ужо принесу.

— Ладно, — кивнул Емельян, думая: ох и пройдоха ты, купец щербатый! — Кто ж таков ты, назовись.

— Московский купец я, Иваном Ивановым кличут. Да я вам для ваших лошадей фураж поставлял.

— Ты мне? — поразился Емельян.

— Ну да, когда вы еще на царстве сидели, помните?

— Ах да! — «вспомнил» Емельян, косясь на Перфильева да Овчинникова с Твороговым и Давилиным — были они в ту пору в палатке.

— Вот, вот, — обрадовался купчишка. — Вы мне еще этот зипун пожаловали с шапкой. — И он потеребил за полу суконный, кирпичного цвета зипун, а на вытянутой руке показал бархатную шапку.

Да, брехлив московский купец оказался, ежели токмо и про то не брешет, что на самом деле купец, а не лазутчик коварный, Катькиными слугами подосланный.

Советчики же Емельяновы во все глаза на гостя уставились. И решил Пугачев перед ними до конца зрелище сотворить.

— А ну зови сюды всех старшин! — крикнул Емельян Давилину да распахнул юрту пошире и повел разговор громко, чтоб везде слышали: — Так зачем же ты прислан ко мне, торговый человек, и какие вести скажешь?

Сообразительный купчина быстро скумекал, что «царю» потребно:

— Прислал меня наследник вас посмотреть, подлинный ли вы родитель его?

— Ну и что же, детушка, узнал ты меня?

— Как же не узнать, ваше императорское величество? Вы доподлинный.

Тогда Пугачев велел подать вина и первый поднял чарку, громогласно себя прославив:

— Здравствуй, я — великий государь!

И все пили за его здоровье. А киса с подарками лежала на полу на видном месте. Словом, как по писаному сыграли. А когда кончилась «комедь» и был купчишка отослан на покой, Емельян сказал:

— Смотрите за щербатым получше. Сдается, обманщик он.

После взятия Осы купчишка запросился:

— Поеду я, ваше императорское величество, в Казань, а оттоль в Нижний, привезу вам пороху.

— Какого еще пороху? — спросил Емельян, прищурившись, а сам помыслил: «Как бы ты, осмотрев нашу толпу, не подвез до нас правительственную команду!» — И ответил: — Поживи еще подле моего обозу, мил человек, в Казани скоро все будем.

Во время похода опять купчишка с прошением подкатился — на сей раз уж прямо в Петербург лыжи навострил, дескать, я вам Павла Петровича привезу да еще с великою княгинею Натальей Лексеевной! Усмехнулся Емельян: вовсе немыслимое сулит! И сызнова не отпустил.

А теперь вот, значит, в третий раз просится. И рассерчал Пугачев, крикнул Творогову:

— Да что он скучает? Сказывал я ему или не сказывал, что сам вспомню, когда сможет отъехать? Вот и пущай сидит!

Творогов, не переча, вышел из шатра.

А Емельян долго еще не мог успокоиться.

Однажды сказал он, что народу у него как песку... Верно, конечно. Только песок меж пальцев течет. Черпанешь — уходит, опять черпанешь — сыплется. Так и с народом в их войске — одни пропадают, другие приходят.

Несть числа таким, кои с отвагой служат доброму делу. Но при них же, бок о бок, суетливо мельтешат и крохоборничают людишки мелкие, алчные любостяжатели, вроде Митьки Лысова, Шибаева-есаулишки или опять же этого купца-мошенника. Волочит их неукротимая река народного возмутительства, булгачит, крутит, вздымает на пенный вал, как пустопорожний мусор...

Но так уж, видать, спокон веку заведено: к добру злое приклоняется, уповая на дармовую корысть и поживу.

Душно стало Емельяну в тесном шатре, выбрался под звездное небо. Ночной простор дышал знойким настоем июльских трав, отдавая полынной горечью. Донские степи пахнут инако — куда слаже. Лежат они далеко за горизонтом, за невидимой чертой на юге. И что сейчас там, что в Зимовейской? Чует ли сердце Митревны, жены нареченной, где муж ее, казак Емельян Иваныч? Помнят ли отца дети — сын и дочки? Увидит ли он их когда-нибудь?

Поблизости, в семи верстах, тоже невидимая в черноте ночи притаилась Казань-крепость. А вокруг Емельяна спит воинский стан — несметная сила.

На востоке уже светает... Что же предуготовил ему день завтрашний?

И, озирая так спящий мир — земную твердь и небеса, ощутил себя вдруг Пугачев вознесенным на гребень могучей волны. Катит ее неудержимый поток, а он, Емельян, стоит на том гребне, как кормчий, неколебимо и прочно.

ГЛАВА 11. ГОРИТ КАЗАНЬ

12 июля в шесть часов утра Пугачев поднял свое двадцатитысячное войско и двинул его на Казань четырьмя колоннами.

Он сделал так, как советовал накануне Минеев, — атаковал крепость в обход главных ворот. Выдвинутая защитниками города небольшая батарея была смята. Пугачев и Белобородов, захватив на Арском поле рощу, загородный барский дом и кирпичные сараи, пошли вперед под прикрытием возов с подожженным сеном и хворостом. Ветер дул на город. Огонь быстро охватил ближайшие дома и укрепления. Правительственные отряды, стоявшие на первой линии защиты у крепости, отступили. Все начальствующие лица и окрестные помещики заперлись в кремле, другие служилые люди и богатеи купцы — в девичьем монастыре в предместье-форштадте. Первым вошел в город Белобородов. Пугачев со своей колонной овладел гостиным двором близ крепости.

Из показаний Ивана Творогова при допросе в Секретной комиссии 27 октября 1774 года:

«Толпа наша рассеялась по форштадту и, грабя все домы, выгоняли по приказу злодея всех, в домах бывших, людей в злодейский стан. Как же злодей, присту-

пая к кремлю, увидел великое супротивление, то, отступя от оного, приказал во многих местах форштадт зажечь, что и исполнено, и сделался преужасный пожар».

Пожар разрастался, заволакивая удушливым дымом город.

Разъезжая, как обычно во время сражений, в простом казацком кафтане на черном скакуне, Пугачев давал указания Чумакову и командирам колонн стрелять из пушек по крепости без передышки. Батарея, стоящая в трактире гостиного двора, непрерывно била по Спасскому монастырю. Минеев втащил пушки на ворота Казанского монастыря и на церковную паперть. Бой длился уже пять часов. Потери с обеих сторон были огромные. Осажденные задыхались от дыма. Он черным покрывалом оседал прямо на кремль. Искры и головни из горящего предместья залетали за стены крепости, и там тоже загорались дома. Среди укрывшихся в кремле начался ропот. А на улицах занятого Пугачевым города, объятого пламенем, чинилась расправа со всякого звания господами — громились купеческие лавки, монастыри, церкви. По приказу Пугачева были открыты каталажки и выпущены все колодники.

Дышать в городе становилось все труднее. Задерживаться в нем с войском было неразумно. Емельян отдал распоряжение: выбираться на Арское поле, разбить лагерь на прежнем месте, в семи верстах от Казани.

Масса людей хлынула из города. Потянулись и жители с домашней рухлядью.

...Емельян ехал по Арскому полю среди всеобщей этой толчеи, шума и гомона. Людская лавина: возы, телеги, узлы с награбленным скарбом, татары, башки-

ры — лопочут по-своему... А вот изможденные люди в лохмотьях — старики, женщины, дети; еле идут, спотыкаются...

— Эти откель? — спросил Емельян, останавливая коня.

— Колодники, государь, — ответил неотлучный Яким Давилин. — Мы пооткрывали все темницы по вашему повелению, повыпускали, кто сидел, а их тут густо скопилось. Сказывают, Катькин вельможа, что в кремле хоронится, Потемкин, приказал всех до единого арестантов порешить, ежели мы в город войдем. Многих и прикончили, да всех не успели.

Емельян посмотрел на исхудавших тюремников, коих удалось спасти от гибели. И вдруг встрепенулся: черноволосый бородач наперерез кинулся:

— Государь-батюшка, признаешь?

Торнов! Персиянин, которого нарек когда-то, еще в Берде, полковником и отправил на подмогу к Зарубину-Чике. Был Торнов еще в апреле схвачен супротивниками и упрятан в казанском остроге. А теперь сызнова готов служить.

— Гарно! Набирай себе полк и в мой шатер приходи.

И хотел он дальше ехать, но судьбе суждено было сладить здесь ему еще одну встречу. Да какую! Уже тронул Емельян коня, как услышал звонкий мальчишеский голос:

— Маманя, гляди-кось, папаня едет!

Екнуло сердце у Емельяна прежде, чем глянул в ту сторону, откуда раздался голос, а как глянул — вовсе захолонуло внутри: посреди дороги в толпе освобожденных из каземата стояла его законная жена Софьюшка — на руке малая девчонка, у подола Аграфена, сбоку Трофим, сынишка девятилетний, — глаза радостью сияют, отца признал!

А у Софьи испуг и смятенье на лице, отшатнулась, рот рукой зажала.

Из холода в жар Емельяна кинуло от нежданной встречи: поди, выдаст нечаянным словом! И как при гренадерском смотрении под Осой уловил момент наивернейший, так и сейчас: всадив каблуки в бока лошади, взбросил ее на дыбы, будто сама взыграла, и, наехав на перепуганную Софью с детьми, осадил очумелую животину. И в краткий миг сей успел сказать жене потаенно от прочих, сверкнув глазами по-страшному:

— Молчи! — И отъехал, будто с трудом угомонив коня, похлопывая ладонью по шее, а потом уже спокойно обернулся к Давилину:

— Женщину ту и детей с собой возьми. Я ее знаю — жена она моего дружка казака, который за имя мое пострадал. Пусть с нами в обозе едет, я ее теперича не оставлю.

И, не оглядываясь, поскакал вперед.

Вот жизнь подсудобливает! Сколь мечтал о детях и Софье, а привелось увидеть — даже взглянуть лишний раз неможно. Одна только мысль и греет: близехонько отныне будут, сыты и обихожены... А когда снова-то выпадет случай свидеться?

Может, и в тот же день нашел бы Емельян зацепку с родными встретиться, да пришла дурная весть: опять показался Михельсон со своими солдатами. Этот Катеринин командир, как неотступная гончая, настырнее других бежит по Емельянову следу. Вот и сюда, хоть с опозданием, а первый пожаловал — Казани на выручку.

«Нельзя допустить, чтоб пристал он к казанскому гарнизону, в крепости запертому», — решил Емельян и повелел немедля готовить войско к бою. Взяв от каждого полка по сотне человек с ружьями, он приказал

всем остальным, безоружным, укрыться подале в лугах за рекой Казанкой, а сам повел отобранных ратников на стычку с гончаком Михельсоном.

Бой произошел на Арском поле. Опять несколько часов подряд бились пугачевцы. Утром — Казань, к вечеру — эта Михельсонова ватага. Сказался, видно, устаток. Да еще у Михельсона была весьма справная артиллерия.

И дрогнули пугачевские воины, хоть и с ружьями были, а отступили, полегло тут восемьсот человек, более семи сотен попали в плен. Пленен в этом сражении был и поручик Минеев...

...С остатками отряда Пугачев перебрался за реку Казанку, стал лагерем в 20 верстах от поля боя. Здесь он привел свои ряды в порядок и на другой день снова напал на Михельсона. Но опять незадачливо. И еще день прошел в надежде разбить Михельсона и овладеть казанской крепостью. Однако 15 июля случился уже такой многочасовой бой у города, после которого пугачевское войско было рассеяно. В этом бою пропал Иван Белобородов. Позже он под чужим именем появился в Казани, но был опознан и заключен в тюрьму. Михельсон, подкрепленный солдатами из Казанского кремля, погнался за повстанцами. Нелегко давалась карателям эта победа — в рапортах и донесениях вышестоящему начальству правительственные командиры, как и прежде, неизменно отмечали мужество, храбрость и удивительную самоотверженность плохо вооруженных воинов народной армии. И все-таки силы были неравные.

Пугачев поспешно ушел луговой стороной Волги на север. В семидесяти верстах от Казани он решил перебраться на правый нагорный берег.

Но перед широким разливом реки остановили своих коней башкирские джигиты. Не резон им покидать родные просторы. И Пугачев не стал неволить — они повернули отсюда назад, почти все четыре тысячи, сколько их было... Не бросил Пугачева

лишь с несколькими сотнями верных лучников до конца преданный Кинзя Арсланов.

17 июля Пугачев переправился с тысячной конницей на правый берег Волги.

Оставив за спиной продымленную, разоренную Казань и всех не успевших еще опомниться от ужаса ее начальников и дворян, он двинулся прямо на запад, к сердцу России, к древней первопрестольной столице.

ГЛАВА 12. НА МОСКВУ!

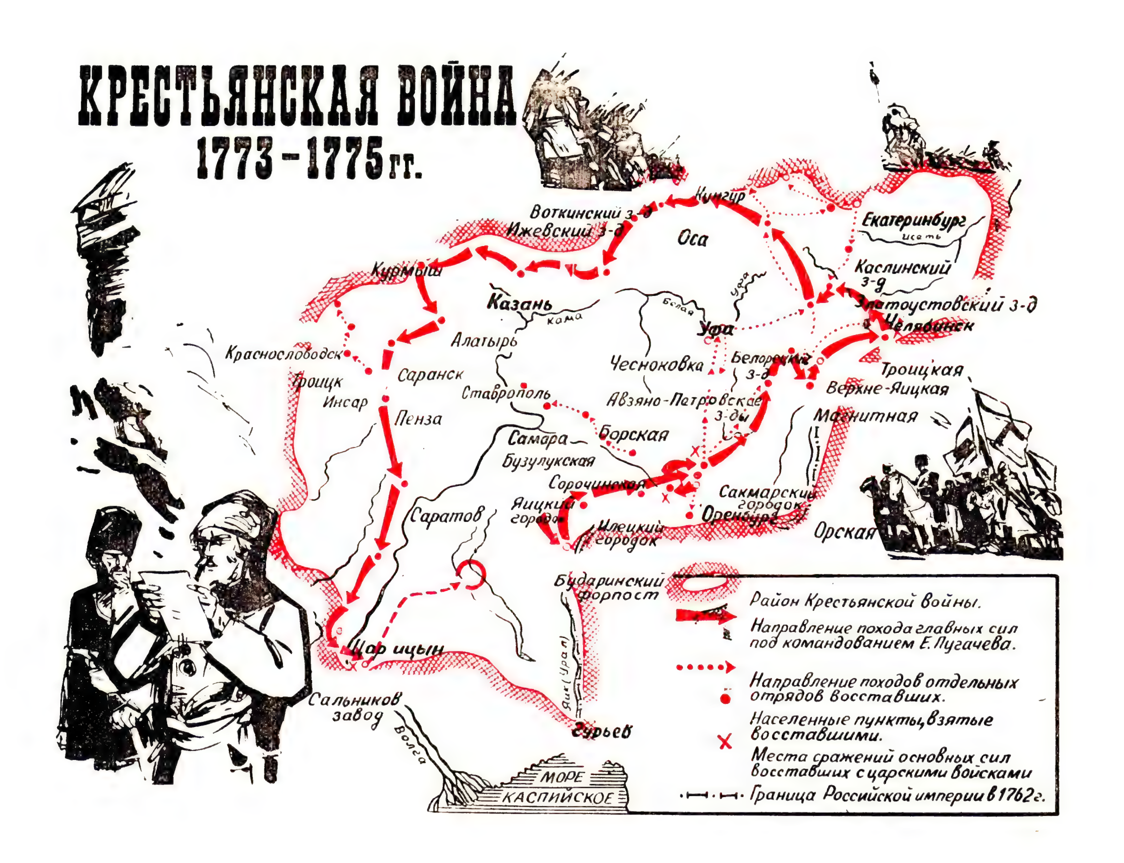
Наступил самый знаменательный момент в истории крестьянской войны на территории Российской империи в XVIII веке.

Иван Творогов при допросе в Секретной комиссии показывал:

«Как же все переправились чрез Волгу, то злодей... пошел с толпою своею, которая час от часу умножалась, по жительствам и городам... во всех оных местах жители не противились, но, встречая везде с хлебом и солью, давали в толпу нашу вооруженных людей, хлеб и фураж, по силе злодейских указов, им данных, которые сочинял Дубровский...»

Сколько раз Пугачев, казалось бы окончательно разгромленный и терявший десятки тысяч людей, снова обретал еще большую силу! Здесь, на правобережье Волги, это произошло так, как не происходило никогда. Именно здесь крестьянская война достигла своего самого широкого размаха и высшего взлета. Ведь, переправившись на правый берег Волги, Пугачев оказался в самом центре крепостнической России.

И нетрудно представить, как будоражили, окрыляли, обнадеживали рабов-крестьян в нищенских деревнях Российской империи пугачевские указы, которые он рассыпал повсюду, двигаясь к Москве.



КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА
1773–1775 гг.
Кунгур
Воткинский з-д
Ижевский з-д
Оса
Екатеринбург
Исеть
Каслинский з-д
Курмыш
Казань
Кама
Белая
Уфа
Златоустовский з-д
Челябинск
Алатырь
Краснослободск
Троицк
Инсар
Саранск
Пенза
Ставрополь
Чесноковка
Белорецкий з-д
Троицкая
Верхне-Яицкая
Авзяно-Петровские з-ды
Магнитная
Самара
Борская
Бузулукская
Сорочинская
Яицкий городок
Илецкий городок
Сакмарский городок
Оренбург
Орская
Саратов
Бударинский форпост
Царицын
Сальников завод
Волга
Яик (Урал)
Гурьев
МОРЕ КАСПИЙСКОЕ
Район Крестьянской Войны.
Направление похода главных сил под командованием Е. Пугачева.
Направление походов отдельных отрядов восставших.
Населенные пункты, взятые восставшими.
Места сражений основных сил восставших с царскими войсками
Граница Российской империи в 1762 г.

Из указа Пугачева, сочиненного Дубровским 18 июля 1774 года:

«Жалуем всех находившихся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков... вольностью и свободою. И освобождаем от злодеев-дворян и градских мздоимцев-судей крестьян... Повелеваем сим нашим именным указом: противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами... по истреблении которых противников и злодеев-дворян всякой может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжаться будет».

Могло ли быть что-либо привлекательнее для униженных, забитых крестьян, нежели эти волнующие призывы к истреблению ненавистных господ?

Один из очевидцев событий тех дней, помещик А. Т. Болотов, в своих мемуарах сообщает: «Все мы удостоверены были, что вся подлость и чернь, а особливо холопство и наши слуги, когда невьявь, так втайне сердцами своими были злодею преданы, и в сердцах своих вообще все бунтовали, и готовы были при малейшей взгоревшейся искре произвесть огонь и полымя».

Андрей Болотов рассказывает о случае, который произошел, когда он беседовал с крестьянами, снаряжаемыми в ополчение против Пугачева в качестве «дворянских уланов». Болотов напутствовал одного здоровяка: мол, такому «ряжему да бойкому» как не драться — «один десятерых может убрать». А в ответ услышал: «Да, — сказал он мне, злодейски усмехаясь. — Стал бы я бить свою братью! Разве вас, бояр, так готов буду десятерых посадить на копье».

«Оцепенел я, сие услышав», — признается Болотов.

И оцепенела буквально вся дворянская Россия, едва услышала, что предводитель «бунтовщиков» самолично идет к Москве по земле, уже охваченной огнем крестьянских восстаний.

27 июля Пугачев занял город Саранск. Посланный жителям Саранска манифест так и извещал: «Государь Петр Федорович шествовать соизволит через Саранск для принятия всероссийского престола в царствующий град Москву».

Хлебом и солью встречали Пугачева не только крепостные крестьяне, но и перепуганные купцы и церковники. А «царь Петр Федорович» приводил «подданных» к присяге «на верность короне», устанавливал свой порядок: назначал воевод, правителей, оберегал население от грабительства, раздавал бедным жителям из казны деньги.

Разведывательные команды, посланные повстанцами из Саранска, достигли Касимова. Группы восставших появились в окрестностях Нижнего Новгорода и в самой Московской губернии. Из Рязани и Тамбова, объявленных на осадном положении, помещики и чиновники бежали в Петербург. И в лихорадочном ритме работала в это время машина екатерининской военщины.

«Не сумневаюсь, — писала Екатерина московскому губернатору князю М. Н. Волконскому, — что они (повстанцы) стараются пройти к Москве, — и для того не пропустите никакого способа, чтоб отвратить сие несчастие... Неужели вы не в состоянии найдетесь Пугачева словить и прекратить беспокойствие?.. Употребите всех тех, кои способны могут быть, где бы употреблены ни были, для общей обороны!»

И Волконский усердствовал. Он мобилизовал все войска и создавал дворянское ополчение как в самой Москве, так и в Московской губернии. И на всех дорогах, ведущих к Москве, расставил караулы. То же было сделано в Туле, Ярославле, Коломне, Серпухове. В Москве пушки стояли даже на улицах перед домом губернатора. Весь город был разбит на части, велся тщательный тайный надзор за «говорунами». Каждый день ловили «возмутителей». «Московские тюрьмы положительно переполнены огромным количеством бунтовщиков, арестованных в последнее время», — сообщал своему правительству английский поверенный в делах Роберт Гуннинг.

Представители разных государств все время проявляли исклю-

чительный интерес к событиям внутри России. Один из иностранных дипломатов писал: «Половина русской империи объята паническим страхом, и дух мятежа, одушевлявший Пугачева, обуял остальных жителей страны. Пугачев в нескольких переходах от Москвы. Двор собирается удалиться в Ригу».

Екатерина нервничала. По ее указанию собрался Государственный совет, который постановил немедленно выделить дополнительные войска для Москвы из Петербурга, Новгорода и Смоленска. На том же Совете было решено отозвать князя Щербатова и назначить нового «главного усмирителя бунтовщиков, воров и злодеев». Отныне главнокомандующим всеми карательными силами — четвертым по счету! — стал генерал-аншеф граф П. И. Панин, брат известного царедворца Никиты Панина. В его распоряжение тоже были выделены дополнительные воинские части из разных городов России. Специальным указом императрица тут же сделала срочный заказ Тульскому заводу на изготовление девяноста тысяч ружей. А 23 июля Екатерина получила известие о заключении мира с Турцией. «Я сей день, — писала она Волконскому, — почитаю из счастливейших в жизни моей». Она радовалась этому событию потому, что могла теперь беспрепятственно снять с фронта и направить против Пугачева отборнейшие боевые подразделения. Панин и Потемкин получили двадцать эскадронов карабинеров, гусар, драгун, пехотные полки, артиллерию, корпус донских казаков. С турецкого фронта были откомандированы в Оренбургский край генерал-поручик А. В. Суворов, на Дон генерал-майор И. В. Багратион. Лучшие военные силы империи, десятки лучших российских полководцев бросила царица против одного безграмотного донского казака. Потому что здесь был настоящий фронт. И самая настоящая война — пострашнее, чем с иной соседствующей державой. Не случайно Екатерина писала П. И. Панину:

«Итак, кажется, противу воров столько наряжено войска, что едва не страшна ли таковая армия и соседям была».

Пугачев понимал, что против него собирается неодолимая сила. Со всех сторон уже приближались правительственные войска. От Арзамаса шел Михельсон, из Симбирска выступил подполковник Муффель, сзади наседал граф Меллин.

Свободной оставалась лишь дорога на юг.

Пугачев решил двигаться этой дорогой вопреки уговорам ближайших соратников. 30 июля он выступил из Саранска, направив свою армию не к Рязани на северо-запад, а на юг, на Пензу.

С облегчением вздохнули московские господа бояре, перекрестилась в Петербурге царица. Да и все российские дворяне ожили: ведь в течение почти двух недель — с 18 по 30 июля — Пугачев держал их в таком страхе и трепете, в каком они еще никогда не пребывали.

Почему же Пугачев сделал столь неожиданный поворот в движении своей армии? Неужели только потому, что побоялся встретиться лицом к лицу с правительственными войсками?

Нет! Как в Башкирии, уходя от преследующих его карателей, он не просто убегал от врага по единственной свободной дороге, так и сейчас действовал целенаправленно и обоснованно.

ГЛАВА 13. «ХОДИ ПРЯМО, ГЛЯДИ БРАВО!»

Из показаний писаря Алексея Дубровского:

«Намерения у него, Пугачева, были: разбив города Царицын и Черный Яр, поворотить на Дон и склонить все Донское казачье войско, а с Дону идти на Москву».

Из показаний в Секретной комиссии донского казака полковника А. Суходольского:

«Хотя и не потерял он желания пробраться к Москве, видя трудный путь туда... имеет намерение пройти на Дон, сбунтовать кубанские орды и, усилившись, итти к Москве».

Емельян здраво рассудил, что в сей миг близиться к Москве не резон: армия его была хотя и многолюдна опять, но к сражениям малопригодна. Поредели ряды обученных казаков, отстали быстролетные конники-башкиры. Поэтому всем своим сподвижникам он открыто поведал:

— Хочу на Дону усилиться. Намерен идти на Дон, меня там некоторые знают и примут с радостью.

Отпуская прочь от себя купчишку-мошенника Ивана Ивановича, пообещавшего всенепременно еще воротиться в их стан, наказал ему быть в Царицине «с потребными сообщениями о Москве и Петербурге».

И пошел вниз по Волге, нигде не задерживаясь, — день, другой, и дальше, от жительства к жительству: Пенза, Петровск, Саратов, Камышин. Повсюду его пышно величали «государем» и славили под колокольный звон, гарнизоны сдавались, а офицеры и дворяне убегали.

Умножилась Емельянова рать и фабричными людьми, прибавились в Камышине украинские и волжские казаки да калмыки-конники. Словом, было у него под Саратовом четыре тысячи человек при 13 орудиях, а к Дубовке, столице волжского казачества, подступали уже с десятитысячным войском.

Но главная сила его была, как и прежде, в крестьянском мятежничестве. Не успевал он дойти до места, а уже загорались помещичьи усадьбы, и крестьяне приводили к нему из деревень своих господ, падая в ноги, молили «надежу-государя-заступника» избавить их от невыносимой злодейской власти.

И Емельян творил суд и расправу, а когда уходил, долго и после него бушевала в округе народная вольница.

Этот период в истории крестьянской войны XVIII века в России иногда называют «пугачевщиной без Пугачева». Здесь, в Поволжье, Пугачев вообще пробыл совсем мало — двадцать дней. И за эти дни он прошел весь путь от Пензы до Царицына очень стремительно, вроде бы непрерывно отступая, теснимый со всех сторон врагами.

А. С. Пушкин, перу которого принадлежит не только замечательная художественная повесть о пугачевских событиях «Капитанская дочка», но и научно-исследовательский труд «История Пугачева», охарактеризовал последний этап пугачевского восстания таким образным выражением:

«Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием».

В наши дни историками на основании документов подсчитано, что за два месяца — с 20 июля по 20 сентября 1774 года, то есть даже и тогда, когда самого Пугачева в этих краях не было — до него и после него! — в Поволжье действовало более пятидесяти повстанческих отрядов. Зачастую они выступали самостоятельно, не связанные с Главной пугачевской армией, достигая весьма крупных размеров. Например, три тысячи человек собрал литейщик Ижорского завода Савелий Мартынов, свыше трех тысяч восставших включал отряд братьев Ивановых, четыре тысячи крепостных крестьян объединял под своим началом Михаил Евстратов. Правительственными войсками за это время было убито 10 тысяч повстанцев, захвачено в плен 9 тысяч, отобрано у них более семидесяти орудий. Размах и неиссякаемость крестьянских волнений на Волге в этот период поражали карателей.

Саратовский комендант И. К. Бошняк — астраханскому губернатору П. Н. Кречетникову, 8 августа 1774 года:

«Сего ж августа 4-го числа получено в Саратове известие, что предоказанный злодей Пугачев, как приближаясь к Петровску, что весь народ взбунтовался...»

Полковник И. И. Михельсон — главнокомандующему П. Панину, в августе 1774 года:

«Все сделанные варварства в здешних местах дворянству и прочим людям учинены единственно помощью крестьян».

Князь Голицын — главнокомандующему П. Панину, в конце августа 1774 года:

«...Так что где сегодня, по-видимому, кажется уже быть спокойно, на другой день начинается новый и нечаянный бунт».

Емельян уходил в низовья Волги, а огненная река всенародного возмущения продолжала широко разливаться за его спиной. Но сам Емельян с каждым днем много серьезнее задумывался над тем, что ожидает его впереди. Он понял уже вскорости, что едва ли сможет так уповать на подмогу донских казаков, как рассчитывал на то, поворачивая от Москвы к Царицыну.

Еще в бытность его в Петровске пристали к нему первые донцы. Привели объезжие казаки поначалу четырех человек, коих спросил он, что они за люди, и они ответили: мы — донские, присланы от командира посмотреть, кто подошел к крепости. Емельян ответил, что подошел он — «государь». Оставив у себя трех заложников, он послал одного казака назад, чтоб уговорил всех приклониться. И когда приехал к ним сам, то увидел: донцы слезли с лошадей и пешие пригнули знамена. Очень обрадовался Емельян тем первым своим землякам: гостеприимно распахнул перед ними палатку — заходьте, братушки! И принял как родных — пожаловал деньгами: старшинам выдал по 20 рублей, рядовым по 12. А нескольких наградил медалями.

Сразу за Петровском, на пути к Саратову, улучил Пугачев момент перемолвиться словечком с женой Софьей. Темным вечером, таючись, подошел к ее палатке, да и закаменел, духу набираясь, — не мог с ходу переступить порог.

Дети спали. Трошка — казачонок шустрый и тот угомонился. А Софья, как при первом встречанье, шибко оробела и, глядя исподлобья, припала немая к войлочной стенке.

— Что ж ты, Дмитревна, думаешь обо мне? — спросил Емельян тихо, чтоб никто не услышал.

— Что мне думать! — безголосо ответила Софья. — Буде, не отопрешься, что я жена твоя, вот и дети твои.

— Это правда, — сказал Емельян. — И не отпираюсь я от вас, только слушай, Дмитревна, что скажу. Теперь ко мне пристали наши донские казаки, хотят у меня служить, так я тебе приказываю: неравно между нами случатся знакомые, так ты не называй меня Пугачевым. Сказывай, что жена Пугачева, да не сказывайся, что моя. Твоего мужа в суде до смерти замучили. Уразумела?

Софья кивнула и заплакала. Рассказала, какую муку претерпела с детьми, по тюрьмам мыкаясь, по бедности милостыню выклянчивая. А все хозяйство власти порушили, дом в Зимовейской сожгли, пепел по ветру рассеяли. Сами казаки донские то и учинили, а командовал ими полковник Кутейников.

Хмурился Емельян, Софью слушая. С полковником Кутейниковым его издавна жизнь свела — воевал у него в команде под Бендерами, храбрость против турок вместе выказывали. А вот теперь хоть и земляк он, а Катьке слуга первейший, старается...

Утешил Емельян Софью добрыми словами — дескать, не бросит отныне ее с ребятками, а за все, что пережить им довелось, пусть уж простит, но никак

иначе поступить он не волен был: не ради себя на дело сподвигся, ради жизни для всех привольной.

За Саратовом присовокупились к нему еще донцы, и вскоре оказалась в их войске уже целая тысяча земляков. А на подходе к Царицыну, сошедшись в битве с правительственной силой на речке Мечетной, вдруг обнаружил Емельян, что Катькины генералы пустили против него донскую казачью команду. И вел ту команду в бой не кто-нибудь, а полковник Ефим Кутейников! Разбил Емельян донцов-супротивников, разогнал их, Кутейникова же, раненного, в плен забрали.

Долго, подбоченившись, разглядывал «Петр III» пленного. Потом спросил сурово:

— Это ты дом Пугачева разорил?

— Я не разорял, — ответил Кутейников. — Я волю ее императорского величества исполнил.

— Ишь ты! — сказал Пугачев. — А Пугачиху-то хоть знаешь?

И велел кликнуть Софью. Кутейников покосился на нее и головой замотал:

— Никогда не видывал.

Емельян прищурил левый глаз:

— Ах не видывал? В таком разе молитву твори. — И, выслав пленного вон, сказал: — Завтре его повесьте!

Но поутру рапортовали ему: Кутейников из-под караула ушел. Как ушел и кто ему в том пособничал, Емельян не стал допытываться. Другие дела посчитал более важными. Да и что стоил один Кутейников, ежели вся его команда осталась. В ту пору еще надеялся Емельян на своих земляков...

Только находили порой и сомнения. Без особой радости приобщились земляки. Не как фабричные люди или башкирцы прежде, да и крестьяне помещичьи,

боярские, а с оглядкой, с рассудительством — не прогадать бы. Когда подступили к Царицыну, комендант снова выслал навстречу повстанцам тысячный отряд донцов — он будто непременно заказал себе: извести Пугачева руками его земляков! Емельян и на этот раз решил переманить донцов к себе. И поехал с ними на переговорку, взяв ближайших советчиков. Только, чтоб не выделяться «царским платьем», перерядился во все овчинниковское. Съехавшись у вала с казаками, он принялся увещевать их служить верно «государю Петру Федоровичу», себя же выдал за «государева фельдмаршала». Донцы не побежали к государю с охотою, а начали колебаться: мы-де и в государево войско стрелять не будем, и в город к коменданту не пойдем. Лишь пять человек переметнулось сразу.

А когда переговорка уже кончилась, подъехали к валу еще четыре всадника, и один из них, усмотрев «фельдмаршала», крикнул:

— Емельян Иваныч? Здорово!

Растерялся Пугачев, но сумел и тут, как в другие разы, собой совладать, быстро ответствовал, будто не к нему сей выкрик относится:

— А у него и сын здеся! — И, пришпорив пегую лошаденку, поскакал прочь.

Тогда лишь и переметнулись к ним многие донцы, как приказал он палить по Царицыну из пушек. Да недолгой была эта их служба...

Пришло известие, что движутся правительственные войска — не то Михельсон близится, не то князь Голицын, а может, оба сразу. Услышав о приближении вражеской армии, рассудил Емельян за лучшее уйти со своей толпой — ружейных людей у него мало, а на пеших, кои безоружны, какая надежда? Против регулярной солдатни они не выдюжат, разбегутся. Потому, удалясь от драки, оставил Емельян Пугачев

Царицын, а прошел дальше по Волге, намереваясь дойти до Черного Яра, что лежит книзу верст за сто, на пути к Астрахани.

Тут-то снова и выказали себя «рассудительные» земляки: лишь остановилась Емельянова рать на ночевку, отойдя от Царицына верст с десять, как под прикрытием ночи убрались донцы назад в Царицын. В прочих же людях началось замешательство: не зря, мол, донские отстали, видно, уверились, что «Петр III» не подлинный император, а казак их, поелику таковым Пугачев во всех Катькиных публикациях именован. И как допрежь радовался Емельян землякам, так теперь сокрушался: лучше бы вовсе не являлись!

Придиристо вглядывался он и в давних своих приближенников — яицких. Брожение среди них тоже заметил изрядное. Понурые ходят Овчинников с Перфильевым, а Федульев, который Кутейникова приволок, наоборот, непрестанно будто радуется чему-то — усмешливо посматривает. Так когда-то Митька Лысов глазами хитрил. Уж не Федульев ли Кутейникову и бежать подсобил? А что! Все может статься — вот и Творогов с Чумаковым промеж себя, а то и с донцами непрестанно о чем-то шушукаются...

Из показаний Ивана Творогова при допросе в Секретной комиссии в Казани 27 октября 1774 года:

«Потом я... пришел к Чумакову и между разговоров открылся ему: «Што, Федор Федотович? Худо наше дело?.. Верно, не государь он, а самозванец». Чумаков, услышав сие, крайне испугался, сказав: «Поэтому мы все погибли! Как нам быть?» И потом, рассуждая оба, каким бы образом арестовать его, не находили средства начать такое дело и боялись открыться в том другим. В рассуждении чего и условились мы таить сие до удобного случая».

О предательских настроениях в среде яицких казаков, окружавших Пугачева, уже знали и при дворе Екатерины. Не столь безобидным мошенником оказался отпущенный Пугачевым восвояси купчишка Иван Иваныч! Под этим вымышленным именем проник в пугачевский стан разорившийся ржевский купец Долгополов. Авантюрист по натуре, он решил поправить свои пошатнувшиеся коммерческие дела в стане самозваного «императора Петра III». Но за время пребывания среди пугачевцев он понял, что некоторые яицкие казаки не прочь выдать Пугачева, чтобы заслужить прощение царицы. И Долгополов замыслил новую авантюру. Едва отстав от повстанцев, он помчался в Петербург, где под именем яицкого казака Астафия Трифонова добился приема у князя Орлова, а затем «удостоился чести» предстать пред очи самой императрицы.

Екатерина приняла его потому, что дело, с которым он заявился, было чрезвычайной государственной важности: ведь Долгополов предложил свои услуги в поимке Пугачева!

А для того чтобы ему основательнее поверили, он предъявил письмо, написанное якобы от имени яицких казаков, согласных схватить Пугачева, если им заплатят за это по сто рублей каждому.

Долгополов рассчитывал получить эти немалые деньги и скрыться с ними. Состряпав фальшивку, он поставил под ней 324 подписи, а самым первым в списке предателей указал имя Афанасия Перфильева. И тут хитрый купец рассчитал все правильно. Живя в пугачевском лагере, он, несомненно, прослышал про историю Перфильева, которого сам Орлов когда-то направил к Пугачеву с заданием «поймать бунтовщика». Вот теперь Долгополов и решил сыграть на этом.

Мы знаем, что он грубо ошибся в отношении Афанасия Перфильева. Перфильев остался до конца верным соратником Емельяна Пугачева — их даже казнили в Москве на Болотной площади в один день!

Но при дворе купцу поверили и, не мешкая, снарядили в обратный путь.

Наставление Екатерины II — гвардии Преображенского полка капитану Галахову, 8 августа 1774 года:

«Из письма яицкого казака Перфильева с товарищи всего триста двадцати четырех человек, к князю Григорию Григорьевичу Орлову писанного, усмотрите вы, что они представляют свою готовность, связав, привесть сюда известного вора самозванца Емельяна Пугачева.

С сим письмом прислан сюда от переправы чрез Волгу яицкий же казак Астафий Трифонов, который нам от князя Орлова представлен был.

...Если заподлинно Перфильев с товарищи злодея к вам привезут, то, во-первых, сделав им желаемое награждение по сту рублев на человека, старайтесь их добрым манером распустить по домам... А злодея привезите к Москве...»

Тучи над головой Емельяна сгущались.

Он еще не знал, откуда обрушится удар, но тревожные предчувствия не оставляли его ни на минуту.

Как никогда, сейчас был он велик в народе — подтверждали то и Катькины генералы, и цена, что сулили власти за его самозваную голову, — да только наравне с гордостью теперь донимала опаска: а не позарится ли и впрямь кто-нибудь на столь щедрую награду? Жалея тех, кого давно с ним нет, — Подурова, Зарубина, Салавата с Белобородовым, да и прочих верных людей потерянных, снова и снова рядил он, кому может вполне довериться. И в который раз убеждался, что слабеет боевой дух яицких казаков.

Сам-то он не из таковских, чтоб поддаваться унынию. Напротив, чем ни труднее впереди дорога, тем крепче воля Емельянова, и тело будто силу набирает, — походка стремительнее, ум острее, взгляд зорче.

Недаром и песня любимая с уст нейдет: «Ходи прямо, гляди браво, говори, что вольны мы!»

И хотя бегут они от Михельсона сейчас без передышки, все равно решил Емельян у своих способников дух поднять. 23 августа, едва войдя в немецкое поселение Сарапту, кликнул он к себе писаря Дубровского и повелел сочинять указ, коим жаловал всех верховодов Военной коллегии еще более высокими чинами и званиями. Потом позвал Овчинникова, Перфильева, Творогова, Чумакова, Федульева, да и многих прочих старшин яицких и, выйдя из своей палатки, торжественно объявил, что отныне они генералы и фельдмаршалы. Дубровский указ зачитал, все слушали, а после благодарили, даже руку целуя.

В тот же день Емельян заставил Дубровского и другой указ сочинить — к донцам обращенный. Как ни худо шли дела, а не в его характере было терять веру в спасение. Ходи прямо, гляди браво, черт бери! Вот и призывал он донцов тем указом — не поддаваться обещаниям лживой царицы, а уговаривал примкнуть к нему: «Мы, однако же, надеемся, — диктовал он Дубровскому, — что вы раскаетесь и придете в чувство покаяния».

— Посылай, посылай живее, — торопил он Творогова, когда тот запечатывал указ.

Была уже ночь. И безызвестностью томилось сердце. Не знал Емельян, не ведал, что всего через сутки он будет окончательно, бесповоротно разгромлен! В тот миг он жил еще надеждой на добрый исход событий. Ведь часть армии из Сарапты с полдня двинулась дальше, вниз по Волге. Отправился туда и Чумаков, пушечный командир, теперь уже генерал. Сколь ни беги, а встретить наседавшего Михельсона где-то приведется. И Емельяну доложили, будто у рыболовной сальниковой ватаги есть удобное для оборонения

место. Поэтому он наметил там поставить всю артиллерию.

На другой день Пугачев приехал к выбранному месту. Тысяча, а не то и другая-третья из его толпы уже была здесь. Когда увидел он эту разношерстную массу на боевой меже — безоружных крестьян, дворовых, ссылочных, татар казанских, а в обозе среди телег, колясок и старинных карет-берлинов детей да женщин, то вновь усомнился: разве устоять им, таким неснаряженным и немоглым?

Тем более что и Чумаков поставил пушки не так, как было надобно, — не перенес за овраг, а выдвинул наперед. Емельян рассерчал, разбранил Чумакова и с ходу начал переставлять орудия за рытвину. Да не успел оттащить все двадцать четыре штуки — спозаранок появился Михельсон. Он с тылу открыл сильный артиллерийский огонь, а с флангов ударили другие его команды. Пугачев ответил пальбой из пушек, кои были расставлены в ряд, но тут вдобавку сунулась Михельсонова конница. И дрогнула Емельянова рать, уступила у пушек место противнику, а за рытвиной бывшие ратники и обозники тоже покинули укрытие, побежали в страхе. Емельян пытался остановить бегущую толпу, призывая к сопротивлению, но столь велика была во всех оробелость, что, не слушая его, все рассыпались в разные стороны.

Так и случилось величайшее поражение, полный разгром пугачевской армии!

Погиб тут атаман Андрей Овчинников, погибли добрый писарь Дубровский, и верный страж Яким Давилин, и славный толмач Идорка, прошедший с Емельяном весь путь от Яика. И еще две тысячи храбрых ратников сложили головы, а свыше шести тысяч попали в плен, и все пушки до единой были захвачены Михельсоновыми солдатами, обоз также... А с обо-

зом в дорожной коляске обе Емельяновы дочери — Аграфена и Христина. Емельян скакал во весь опор, приказывая везти за собой ту коляску, но на дороге встретился крутой косогор, коляска опрокинулась, очутились девки на земле. Рванул Емельян коня назад, но увидел, что уже бегут и хватают девчонок солдаты в зеленых мундирах...

Остались при Емельяне жена да сын, десятилетний Трошка. Кинзя Арсланов, Афанасий Перфильев с двумя сотнями казаков да столько же конных разночинцев — крестьян, татар, калмыков... Пустились все шустро в сторону Волги от места боя, спасаясь от погони. И еле ушли.

Не отстали и Творогов с Чумаковым да с Федульевым...

Из показаний Ивана Творогова:

«А как мы с Чумаковым с вечера еще предчувствовали, что толпа наша в рассуждении нашедшей на всех робости, неминуема разогнана будет, то в таком случае условились с ним не упускать злодея из глаз, чего ради с самого начала сражения и были при нем безотлучны, не отступая, так сказать, ни на шаг...»

ГЛАВА 14. «ЧТО Ж ЭТО ВЫ ЗАДУМАЛИ, ДЕТУШКИ!»

Опомнился Пугачев лишь на острове.

Прискакав к берегу Волги, нашли они несколько мелких судов, да еще невдалеке плавали рыболовы — забрали и у них лодки и перебрались на остров, который в этом месте разделял реку надвое.

Тут остановились покормить лошадей и сами передохнули, осмотрелись, сосчитали, кто с ними.

Но вскорости на правом берегу появились Ми-

хельсоновы солдаты. Пугачев приказал перекидываться дальше — на луговую сторону. Лодки через остров не перетянешь — так они и остались без пользы. Переправились вплавь. Одежду сложили на плоты-салы. Понаделали же плоты из сухого тальника, привязали к лошадиным хвостам. Сорок казаков остались на острове — у них приустали кони. Остался здесь и Афанасий Перфильев.

Переправу с острова закончили к ночи и, отойдя от воды версты с три, заночевали в лугах. Едва разбили лагерь, Емельян созвал приближенников:

— Ну, детушки, как думаете, куда нам теперь идти?

— А куда вы изволите, ваше величество? — спросили они, желая испытать его намерение.

Он сказал, что хочет идти вниз по Волге, чтобы потом морем Каспием пробраться к запорожским казакам. На это яицкие казаки ответили:

— Воля твоя, хоть головы руби, мы не пойдем в чужую землю.

— А куда же вы думаете? Ин в Сибирь пойдем?

Казаки и от того отказались:

— Нет, батюшка, и туда мы не ходоки с тобой.

Пугачев выразил недовольство:

— Так куда же вы советуете?

Тогда Чумаков сказал:

— А мы советуем вверх по Волге идти, на Узени пробраться. А там уж придумаем, что делать.

Пугачев нахмурился. Узени — две узкие, но глубокие речонки, которые текут одна близ другой по степи где-то между Волгой и Яиком. Там мало жительств и много преглухих островов, заросших камышом, но зато и с провиантом трудно, да и воинские команды туда быстро пройдут, как только опознают, что беглецы укрываются в тех местах.

Но казаки упорствовали на своем: «Больше никуда мы нейдем!»

И Пугачев согласился. С этим и разошлись на сон.

Из показаний Ивана Творогова:

«Во время сего ночлега возобновили с Чумаковым первое наше намерение связать злодея и условились открыться в том надежным нам хорунжим: Ивану Федульеву, Тимофею Железному, Дмитрию Арыкову и Ивану Бурнову...»

Утром казаки поехали дальше не по берегу Волги, а степью. Двигались так до полдня, томясь от жажды, а когда добрались до старых калмыцких колодцев, то обнаружилось, что и в них нет воды. Пугачев решительно воспротивился идти вперед сухой дорогой.

— Куда вы ведете? — спросил он Творогова и Чумакова. — Люди и лошади здесь помрут без воды и хлеба.

Тогда казаки повернули снова к берегу Волги.

Из показаний Творогова:

«Едучи два дни, помянутые хорунжие сдержали свое слово и, один другому открывшись в намерении, касательном до арестования злодея, согласились...»

Заговорщикам мешали неказаки-«разночинцы» — татары, калмыки, крестьяне, — их было с Пугачевым тоже довольно много. Поэтому на третий день пути, достигнув небольшого селения, яицкие казаки обратились к Пугачеву с предложением — всех неказаков оставить в этом селении. Предлог был ими найден простой: дескать, для казаков не хватает лошадей, иные потонули еще при переправе через Волгу с острова, иные пали, обессилев в степи, да и хлеба на прокорм всех «разночинцев» требуется сколько!

Пугачев поначалу был категорически против такого решения. Но яицкие долго убеждали его, и он с сердцем воскликнул: «Ну ин как хотите!»

С этого дня нежелательные для казаков люди — как раз наиболее преданные Пугачеву — от него отстали. Неказаков осталось с ним всего несколько человек, в том числе и Кинзя Арсланов.

Из показаний Творогова:

«Кинзю нельзя было нам никак оставить, в рассуждении, что злодей тотчас взял бы нас на подозрение».

Однако через несколько дней исчез и Кинзя. Только что приведенное свидетельство Творогова на допросе в Секретной комиссии 27 октября 1774 года — последнее документальное упоминание об этом выдающемся сподвижнике Емельяна Пугачева. История не сохранила данных о том, какова его дальнейшая судьба. Ушел ли он куда-либо от этой группы казаков, фактически же взявших над Пугачевым полную власть? Или они убили его тайно от Пугачева? Во всяком случае, из последующих событий ясно, что при драматической развязке, которая уже близка, его рядом с Пугачевым не оказалось...

Народная память сохранила волнующие легенды, в которых Кинзе Арсланову отводится почетное место бесстрашного борца за свободу башкирского народа даже в послепугачевское время. Но кто знает, где на самом деле сложил голову этот замечательный человек?

После двух недель пути яицкие казаки достигли наконец цели своего движения — района Узеней.

Из показаний Ивана Творогова:

«Пугачев... едучи дорогою до сего места, показываясь весьма унылым, ничего не говорил».

Понимал он или не понимал, что казаки замышляли против него?

Влекли, конечно, сейчас яицкие Емельяна не по его, а по своему хотению. Однако не оставлял и он намерения действовать по самоличной воле. И когда, прибыв на Узени, узнал он, что неподалеку живут какие-то старики, то сказал Творогову и другим ближним при нем:

— Поедем к ним. Не найдем ли тамо кого наших беглых...

Вспомнил он о давних своих встречах со староверами, которые говорили, что на Узенях, как на Иргизе, хоронятся от власти верные люди. И, направляясь к этим узенским «жителям», не хотел ли Емельян восстановить, поелику то было б возможно, свои прежние связи независимо от яицких казаков?

Только обернулось все уже навечным концом вольных его мышлений...

Из показаний Творогова:

«А как он стал звать нас туда, то мы, почитая сие место за удобнейшее к произведению нашего намерения, с радостью согласились с ним туда ехать....

И, отобравши человек с двадцать надежных друг другу людей, поехали, вооружась каждый шашкой, копьями и винтовками, и предприяв совершенно исполнить тамо свое намерение, поелику он сел на посредственную лошадь, которая не подавала нам сумнение, чтоб мог он от нас на ней уйтить.

...Как же при злодее остались только Чумаков, я, Федульев, Бурнов, Железнов и шестой, не упомню — кто, то Чумаков начал говорить так: «Что, ваше величество? Куда ты думаешь теперь итти?»

...А он, приметя, что мы вольнее против прежнего говорим ему, — то побледнеет, то покраснеет...

...Как же я с Федульевым, Бурновым и протчими, переправившись через речку, вышли на берег, где

Чумаков держал как его, так и свою лошадь за поводы. И Пугачев хотел садиться на свою лошадь, то Федульев закричал Бурнову: «Иван! Што задумали, то затевай!» Почему Бурнов, стояв на то время возле... схватил его спереди за руки, повыше локтей. Помертвев... он прерывающимся голосом говорил: «Што это? Што вы вздумали? На кого вы руки подымаите?» На сие мы в разные голоса ему сказали: «А вот то, што ты отдай нам свою шашку, ножик и патронницу, мы не хотим больше тебе служить!» Он... смотря на нас, говорил: «Ай, робята! Што вы это вздумали надо мною злодействовать? Вить вы только меня погубите, а то и сами не воскреснете. Полно, не можно ли, детушки, этова отменить?» На сие все мы в один голос закричали: «Нет, нет, мы повезем тебя прямо в городок»... И потом говорили ему, чтоб он отдал требуемое от него с честию. Он... сняв с себя шашку и патронницу, сказал Бурнову, который продолжал держать его руки: «Мне-де, бесчестно отдавать ето тебе, а я отдам полковнику своему Федульеву», которому сие, равно и нож большой, при нем бывший, отдал. Потом посадили мы его на лошадь и, ведя за повод, ехали все вокруг его...»

ГЛАВА 15. В ЗАСТЕНКАХ ТАЙНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Из письма Екатерины II П. С. Потемкину, председателю секретных комиссий, в Казань:

«Яицкие казаки Пугачева связали и везут в Яицкий городок... Мое повеление есть, чтоб капитан Галахов... Пугачева принял и вез его к Москвы... к Москвы теперь я отправляю Шешковского в тайную экспедицию... А вы приехавши к Москвы и вступав в деле, старайтесь вывести плутни от корени, дабы не осталось ни в чем сумнения».

Из донесения сотника Харчева коменданту Яицкого городка полковнику Симонову, 15 сентября 1774 года:

«10-го сего командирован я был от вашего высокородия с командою в числе 50 человек с данным наставлением... самого злодея поймать. И повстречались мне казаки — яицкой Федор Чумаков, илецкой Иван Творогов, а с ним и предписанный бударинский сотник Чесноков, которые объявили, что они... едут с раскаянием, да и злодей-де, самозванец, у них пойман и ведется. На другой день, как они с ним с Бударинского форпоста отправились в путь, тогда я... Пугачева себе отдать требовал. И, доехав до Кош-яицкого форпоста, взял от них под свой караул и, заклепав в колодку, к вашему высокородию доставил...»

Комендант Яицкого городка полковник Симонов — генералу А. В. Суворову, 16 сентября 1774 года:

«Пугачев доставлен сотником Харчевым в ретраншемент на 15 число в саму полночь... Содержится под крепким караулом в оковах. Под караулом же и остальные 114 казаков шайки Пугачева. По городу тишина».

Протек ровно год с того момента, когда Емельян Пугачев, радостно принятый яицкими казаками, под развернутыми знаменами начинал свой поход от этих самых мест — от Бударинского форпоста и Яицкого городка...

И вот теперь он снова здесь — схваченный теми же казаками и переданный ими в руки властей. Под мрачные своды низкой палаты приземистой комендантской канцелярии его ввели четыре конвойных. Капитан-поручик Савва Маврин, чиновник Секретной комиссии, учинил первый допрос. Пугачев держался мужественно и стойко.

Из рапорта капитана С. Маврина П. С. Потемкину:

«Описать того не можно, сколь злодей бодрого духа и не устрашен ни мало...»

Не сразу дался Емельян и казакам-изменникам. Когда они повезли его с Узеней, окружив плотным кольцом, он сделал попытку вырваться. У речки при переправе, едва Чумаков поскакал наперед объявить оставшимся в стане, что царь-самозванец арестован, Емельян кликнул Творогова:

— Иван, подь-ка сюды!

Творогов подъехал верхом, и Пугачев сказал, что имеет нужду с ним поговорить. Они поехали рядом. Пугачев принялся опять увещевать старого содейственника:

— Что же вы делаете? Разве вам польза — меня потеряете и сами погибнете.

Но Творогов не захотел его слушать. Пугачев, оглянувшись, увидел, что казаки поотстали, и, чухнув лошадь, крикнул:

— Ну, прощай, Иван!

Своротя с дороги, он поскакал степью, мелким камышом.

Творогов закричал: «Ушел, ушел!» — и помчался вослед.

У Пугачева была худая лошадь, его скоро нагнали. Тогда он бросился с седла на землю, снял сапоги и побежал — хотел укрыться в густых зарослях камыша. Все тоже соскочили с лошадей, кинулись за ним и поймали, браня, кому сколько приходило на ум. А Емельян бранил их и грозился, поминая «наследника Павла Петровича»: дескать, воздаст он им «за своего отца Петра Федоровича III». Только сказки те уже не обманывали казаков...

Правда, Сидор Кожевников и Коновалов заступи-

лись за «батюшку государя», попросили его развязать.

Пугачев еще надеялся на верных людей и, когда приближались к форпостам, попросил собрать казачий круг.

— Что же вы со мной намерены делать? — спросил он.

— Намерены вести тебя с повинной в Яицкий городок! — закричали казаки.

— Напрасно, други мои, — сказал Емельян, но умолк, видя, что от многих здесь ему помощи ждать не приходится...

Но все-таки высмотрел он, что есть несколько человек, что стоят за него, к примеру Моденов. И когда остановились для корму лошадей, а Емельян увидел возле себя шашку и пистолет, по оплошности оставленные малолетком, вознамерился он еще раз вырваться из рук изменников. Схватив и шашку, и пистолет, он побежал прямо на Чумакова да Федульева с Твороговым, крича Моденову и прочим яицким, которых почитал за своих сторонников: «Вяжите их, старшин вяжите!» Уставя пистолет в грудь Федульеву, он спустил курок, но кремень осекся. А Федульев сам подбежал к Пугачеву с обнаженной шашкой. Емельян, отмахиваясь, стал пятиться. А в это время Бурнов ударил его тупым концом копья в бок. Емельян покачнулся, и Чумаков ухватил его сзади за руки. Тут уж его скрутили накрепко. Моденова до полусмерти прибили и оставили в степи, еле дышащего. Связали и Кожевникова. А жена и сын Трошка, которых везли в телеге, видели, как Емельяна берут под караул, но ничего не говорили, только сильно плакали...

В Яицком городке капитан Маврин затеял выставление Пугачева перед всеми жительствующими, «дабы разоблачить его, яко обманщика». И тут оказалось,

что рядовые казаки еще весьма расположены к своему предводителю.

Из донесения капитана С. Маврина П. С. Потемкину:

«Ваше превосходительство, не видя, чувствовать сего не можем, что тут казаки делали, были почти вне уме, ибо, как видно, и тут еще в мыслях очарованы были».

Не такая уж «тишина» стояла в городке, как докладывал комендант Симонов. Приметя явное сочувствие к Пугачеву рядовых казаков, Маврин пресек показ пленника народу.

А 16 сентября в городок прибыл А. В. Суворов, чтобы доставить Пугачева в Симбирск. Через несколько дней в непогоду — дождь и слякоть — Пугачева, скованного по рукам и ногам, посадили в деревянную клетку и на двухколесной колымаге повезли под усиленным конвоем. 1 октября к вечеру он был доставлен в Симбирск.

Утром 2 октября в Симбирск прикатил из Москвы граф Панин. Здесь уже находились П. С. Потемкин и полковник Михельсон. Панин приказал привести к нему пленника.

Так народный вождь оказался перед «главным усмирителем».

Сколько было их, разных правительственных персон — князей, графов, генералов и полковников, — посылаемых всероссийской императрицей против «бунтовщика»! Незадачливый Кар и трусоватый Чернышев, осторожный Де-Колонг и деятельный Бибиков, нерасторопный Щербатов и докучливый Михельсон, и Голицын, Мансуров, Корф, Фрейман, Гагрин, Меллин, Муффель — нет им числа, немцам и русским, молодым и старым преследователям. Многие из них так и не увидели в глаза того, кто потряс всю дворянскую Россию. Сей же граф Панин встретился с Емельяном. И это была не первая их встреча. Четыре года назад, в 1770 году,

когда Пугачев отличился в бою под Бендерами и его произвели в хорунжие, командующий русскими войсками Панин самолично огласил благодарность отличившимся казакам. И проскакал на коне перед строем. Он ничем не выделил тогда казака Пугачева. Но вроде бы скрестились их пути-дороги. Теперь же вновь свела судьба — стояли они сейчас лицом к лицу: Панин со свитой на крыльце дома, а Пугачев, скованный и охраняемый многочисленными стражниками, на середине двора.

А. С. Пушкин в «Истории Пугачева» описал эту знаменательную встречу народного вождя с Паниным так:

«Кто ты таков?» — спросил (Панин) у самозванца. — «Емельян Иванов Пугачев», — отвечал тот. — «Как же смел ты, вор, называться государем?» — продолжал Панин. — «Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает».

Пушкин далее пишет: «Надобно знать, что яицкие бунтовщики в опровержение общей молвы распустили слух, что между ими действительно находился некто Пугачев, но что он с государем Петром III, ими предводительствующим, ничего общего не имеет. Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды».

Передавая этот диалог между Паниным и Пугачевым, Пушкин использовал поэтическое предание. Народных легенд, связывающих имена Пугачева и Панина, известно много. В одной из песен говорится:

Судил тут граф Панин вора Пугачева.
— Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иваныч,
Много ль перевешал князей и боярей?
— Перевешал вашей братьи семьсот семь тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался.
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
За твою-то бы услугу повыше подвесил...

Подобного разговора между Пугачевым и Паниным скорее всего не было, так же как и того, который описан Пушкиным. Однако сиятельный граф на самом деле, увидев Пугачева, набросился на него с кулаками и жестоко избил его, скованного и лишенного возможности защищаться. В этом убеждает циничное признание самого Панина в переполненном злобой письме его к московскому генерал-губернатору М. Н. Волконскому:

«Он (Пугачев) уже сегодня здесь и дошел до моих рук на площади, окованный... отведав от моей распалившейся крови на него произведенной... несколько моих пощечин, от которых из своего гордого виду тотчас низвергся в порабощении».

Низвергся в порабощении! Вот чего хотелось дворянам больше всего — как можно скорее увидеть Пугачева униженным и поверженным ниц! Их выводил из себя его «гордый вид». Но он и Панину, как в Яицком городке Маврину, отвечал «смело и предерзостно». Распалившийся граф не ограничился рукоприкладством. Он засадил Пугачева в «особливый покой». Закованного в ручные и ножные кандалы, Пугачева денно и нощно, кроме часовых, охраняли два офицера при шашках. Дополнительно надели тяжелый железный обруч и цепью приковали к стене. Прибывшему из Петербурга по личному распоряжению Екатерины для конвоирования Пугачева капитану Галахову Панин дал строжайшее предписание:

«...Чтоб сей злодей был всегда прикован к стене, а от замка той цепи ключ всегда хранился у Вас, и никуда б он и никто к нему без моего повеления до сего времени допускаемы не были».

Граф Панин был чрезвычайно жестоким, бессердечным человеком. Он открыто говорил, что всех людей недворянского происхождения надо наказывать только физически. И постоянно под-

вергал телесным наказаниям солдат, неоднократно выносил им даже смертные приговоры. Приняв пост «главного усмирителя» восставших крестьян, он в полной мере проявил свою жестокость. По его приказу устраивались массовые казни, а на перекрестках дорог — «для устрашения народа» — выставлялись отрубленные головы, руки, ноги и сооружались плавучие виселицы «глаголи», которые, медленно плывя по течению рек, зловеще чернели на фоне голубого неба телами казненных, подвешенных за ребра...

В руках этого истязателя Пугачев находился почти в течение месяца — до конца октября. Когда началось дознание, начались для Пугачева нескончаемые муки. Это тоже нашло отражение в документах. В «Прибавлении к допросу 2—3 октября в Симбирске», то есть на другой же день после встречи с Паниным, недвусмысленно сказано о том, что Пугачева с самого начала пытали:

«Соображая обстоятельства похождения злодея по всем сведениям, каковы секретная комиссия собрать могла, с показанием его, усмотрела, что злодей, скрывал яд злости на сердце, для того учинено было ему малое наказание, и по доводам тем... убежден был злодей, и открылся против вопросительных пунктов».

«Открылся... после наказания...» Но было ли наказание «малым»?..

Пугачев не терял твердости духа даже в нечеловеческих условиях. Один из очевидцев событий тех дней, сенатор П. С. Рунич, в своих записках рассказывает о встрече Пугачева с полковником Михельсоном в Симбирске. Михельсон зашел в камеру Пугачева и спросил: «Знаешь ли ты меня?» Пугачев поинтересовался, кто он такой. «Я Михельсон», — ответил тот.

«На сей отзыв, — пишет П. Рунич, — Пугачев ни одного слова не сказал, но побледнел и как будто встрепенулся, нагнул голову. Михельсон, постояв с минуту, оборотился и пошел к двери,



Клетка, в которой содержался Е. И. Пугачев в заключении. Была вделана в стены тюремного помещения.

до которой только что подошел, то Пугачев довольно громким голосом вслед его сказал...»

Что же сказал Пугачев, увидев дотошного полковника? Ведь перед ним был тот самый «пес-гончак», который преследовал его почти непрерывно, пока ходил Емельян со своим многотысячным войском по России — от Оренбурга до последнего сражения, где потому легко рассыпалась Емельянова рать, что «не на то место определил пушки Чумаков».

Только не об этом сказал Пугачев. А просто снасмешничал над Михельсоном: «Попросить мне было у него одну шубу, ему много их досталось!» «Потом уже, — пишет П. Рунич, — при всех, с сильным гневом сердца сказал: «Где бы этому немцу меня разбить, если б не проклятый Чумаков был тому причиной».

Вот какая была натура у Емельяна — не ведал он отчаянья даже в такую минуту!

Разговор этот состоялся 25 октября.

А на другой день Пугачева повезли в Москву.

Зная о его популярности среди народа, Панин распорядился на всем протяжении от Мурома до Москвы разместить солдат. «К провозу его требуется теперь, — писал главный каратель, — обезопасить московскую дорогу». Екатерина была с этим согласна и выделила для конвоирования «важного преступника» полк драгун. А чтобы в пути не было никакой задержки, на каждой станции всему конвою заблаговременно выставлялось сто подвод. Везли Пугачева в строгом соответствии с инструкцией — безостановочно, в кандалах, в закрытой кибитке, освещаемой ночью извне фонарями.

Московский генерал-губернатор князь М. Н. Волконский — Екатерине, 4 ноября 1774 года:

«Сего числа до полуночи в девять часов злодей Пугачев и старая его жена и сын под стражею гвардии капитана Галахова в Москву привезены, и злодей посажен в уготованное для его весьма надежное место на Монетном дворе, где сверх того, что он в ручных и

ножных кандалах, прикован к стене. Жена же с сыном в особом номере.

В десятом же часу и я в Тайную экспедицию приехал и с сим извергом говорил...»

4 ноября начался основной допрос Пугачева.

В Москву в Тайную экспедицию были одновременно доставлены Максим Шигаев, Афанасий Перфильев, Зарубин-Чика, Горшков, Торнов-Персиянинов, Иван Почиталин, Тимофей Мясников и многие другие пугачевцы. Десять дней подряд у Пугачева выпытывали все — «от корени», как приказывала самодержавная правительница. Вел дознание при участии П. С. Потемкина главный «мастер сыскных дел» обер-секретарь Тайной экспедиции Сената С. Шешковский, которого Екатерина не зря прислала из Петербурга. По ее выражению, он «особливый дар имеет с простыми людьми... до точности доводить труднейшие разбирательства». Этот «дар» заключался в способности необыкновенно жестоко обращаться с арестованными. Шешковский изнурял их побоями и при этом «производил следствие в комнате, уставленной иконами и во время стонов и раздирающих душу криков читал акафист сладчайшему Иисусу и божьей матери».

Пугачева допрашивали в течение двух месяцев почти каждый день. Первые десять дней — с 4 по 14 ноября — от него требовали подробных показаний о себе, о самозванстве, о ходе восстания. Затем вызывали для разных дополнений и уточнений и устраивали очные ставки с Зарубиным, Шигаевым, Торновым, Денисом Караваевым и другими активными сподвижниками.

Наконец 5 декабря М. Н. Волконский и П. С. Потемкин объявили Екатерине об окончательном завершении следствия. В протоколе Секретной комиссии записано:

Злодей Пугачев спрашиван был с довольным увещанием... и оной Пугачев говорил: «Более он при всяких ужаснейших мучениях инова ничего открыть не может».

Опять документы Тайной экспедиции с неопровержимой ясностью свидетельствуют о том, как «увещевали» каратели арестованных. Ужаснейшими мучениями... Из этих же документов явствует, насколько мужественно пугачевцы держались.

«Сей допрос, — говорится в начальных строках записи показаний И. Зарубина, — показателю яицкому казаку Зарубину, по прозванию Чика и названному от самозванца графом Чернышевым, был в присутствии читан, в чем он по двенадцатикратном увещевании утвердился, но под наказанием...»

«Я никогда не мог вообразить, — докладывал Потемкин Екатерине о Зарубине. — Через три дня, находясь в покаянной, нарочно сделанной, где в страшной темноте ничего не видать, кроме единого образа, перед которым горящая находится лампада, увещевал его... но ничего истинного найти не мог».

А Афанасия Перфильева синод даже предал анафеме «за его упорство и ожесточение... до самой последней минуты жизни своей в своем окаменении пребывшего и все спасительные средства ему предоставленные отвергнувшего...».

Сам Пугачев продолжал поражать своей стойкостью всех, кто с ним сталкивался. Даже Екатерина была вынуждена признать его внутреннюю силу. В одном из своих частных писем, давая оценку «бунтовщику», она призналась:

«Он не умеет ни читать, ни писать, но это человек крайне смелый и решительный».

Усердие карателей привело к тому, что многие подследственные под пытками погибали. Обессилел и Пугачев. Екатерине доложили: П. С. Потемкин «по приезде в Москву гораздо слабее его нашел против того, каков он из Симбирска был отправлен». Не отрицая этого, председатель следственной комиссии московский генерал-губернатор Волконский оправдывался:

«Что он стал хуже, то натурально: первое, что он был все в движении, а теперь на одном месте... Одна-

ко ж при всем том он не всегда уныл, а случалось, что он и смеется».

Объяснения Волконского не удовлетворили Екатерину.

Генерал-прокурор Сената князь А. А. Вяземский из Петербурга в Москву — М. Н. Волконскому:

«12 декабря 1774

Секретно

Ее императорскому величеству известно, что некоторые приличившиеся в важных преступлениях колодники от изнурительного их содержания умирают, и для того высочайше повелеть мне соизволила сие примечание к вашему сиятельству отписать касательно злодея Пугачева и его сообщников, дабы в содержании оных употреблена была вся возможная осторожность... Ибо весьма неприятно бы было ее величеству, есть ли бы кто из важных преступников, а паче злодей Пугачев, от какого изнурения умер и избегнул тем заслуженного по злым своим делам наказания».

Свое участие в деле Пугачева Екатерина вообще тщательно утаивала. И некоторые историки — еще до Октябрьской революции — охотно поддерживали эту версию: дескать, «всемилостивейшая государыня» понятия не имела, как следствие велось и чем оно могло завершиться. Это была заведомая ложь, рассчитанная на то, чтобы закрепить за Екатериной II славу «доброй царицы». Особенно красочно расписывалось милосердие, которое она якобы выявила в момент казни Пугачева. Ведь Пугачев был приговорен к четвертованию. Средневековая мера наказания предписывала изуверский способ лишения человека жизни: сначала приговоренному отрубали одну руку, потом другую, потом ноги и, наконец, голову. Екатерина без колебаний утвердила этот приговор. Но во время казни случилось неожиданное: палач сразу

отсек Пугачеву голову. Это посчитали ошибкой. Собравшаяся на площади великосветская знать шумно выразила недовольство: господа приготовились лицезреть длительные мучения «злодея». Тем не менее палач не ошибся. Он действовал по приказу. А приказ исходил от Екатерины.

Позже в одном из писем за границу Екатерина намекнула: «Вы верно отгадали относительно промаха палача при казни Пугачева; я думаю, что генерал-прокурор (А. Вяземский) и оберполицмейстер (Н. А. Архаров) сговорились, чтобы произошла ошибка».

По той благожелательной интонации, с какой Екатерина сообщает о «сговоре», можно предположить, что он произошел не без ее ведома. Эту догадку подкрепляет письмо А. А. Вяземского, найденное в его архиве, — черновик его послания Екатерине из Москвы, куда он прибыл за несколько дней до суда и казни:

«И намерен я секретно сказать Архарову, чтоб он прежде приказал отсечь голову, а потом уже остальное».

Но и в этом случае императрицей двигало отнюдь не человеколюбие. Она боялась, как бы беспощадная расправа с Пугачевым не породила новых крестьянских волнений. Однако, «смягчая» приговор, она не хотела вызывать и недовольство дворян. Поэтому и оставила свою «милость» в секрете.

19 декабря Екатерина подписала манифест, которым назначила судьями 35 крупнейших помещиков — сенаторов, епископов, генералов и президентов коллегий. В состав суда были включены и М. Волконский с П. Потемкиным. Местом заседаний суда была избрана Москва, где скопилось множество дворян, бежавших из охваченных повстанческим движением провинций России.

29 декабря судьи собрались впервые на заседание, без вызова Пугачева. 30 декабря при втором сборе они вынесли постановление: «Пугачева завтрашнего дня представить пред собрание, а чтобы не произвести в народе излишних разговоров, то привезти

его в Кремль, в особую комнату, близкую от присутствия, до рассвета, где и пробыть ему весь день и отвезти обратно вечером».

Других подсудимых решили вообще не вызывать.

31 декабря привезенный заранее со всеми предосторожностями в закрытом фургоне Пугачев был введен в судебное присутствие. Его заставили опуститься на колени перед собравшимися. На председательствующем месте восседал генерал-прокурор князь Вяземский. Он спросил у Пугачева:

— Ты ли Зимовейской станицы беглый донской казак Емельян Иванов сын Пугачев?

— Да, это я, — ответил Пугачев.

— Ты ли по побегу с Дону, шатаясь по разным местам, был на Яике и сначала подговаривал яицких казаков к побегу на Кубань, потом назвал себя покойным государем Петром Федоровичем?

— Да, это я.

— Ты ли содержался в Казани в остроге, ты ли ушел из Казани, принял публично имя покойного императора Петра Федоровича?

— Да, это я.

— Не имеешь ли сверх показанного тобою еще что объявить?

— Нет, не имею.

На этом «разбирательство» дела закончилось. Пугачева увели. Судьи же приступили к обсуждению мер наказания всем подсудимым. И тут между ними разгорелся спор. Среди высокопоставленных царедворцев нашлись настолько кровожадные, что им показалась недостаточно суровой такая казнь, как четвертование. Они требовали: Пугачева колесовать!

Этой медленной смерти в свое время были преданы в России стрельцы. Вот как описывается, что над ними свершили: «У них ломали руки и ноги — колесами; и те колеса воткнуты были на площади, на колья, и те стрельцы положены были на те колеса, и живы были немного не сутки, и на тех колесах стонали и охали».

Самым ярым поборником этого вида казни для Пугачева оказался граф П. Панин.

Наконец приговор — «решительная сентенция» — был вынесен: Пугачева четвертовать, голову же его «взоткнуть на кол, части тела разнести по частям города и положить на колеса, а после на тех же местах сжечь».

Пяти ближайшим сподвижникам Пугачева тоже была определена смертная казнь: Перфильеву — четвертование, Зарубину — отсечение головы, Шигаеву, Торнову и Тимофею Подурову — повешение.

И еще пятнадцать руководителей восстания были приговорены к жестокому наказанию — вырывание ноздрей, клеймение, истязание кнутом, а потом ссылка либо на каторгу, либо на вечное поселение.

9 января судьи собрались, чтобы подписать утвержденную императрицей «решительную сентенцию». И в тот же день полицмейстер Архаров объявил по всей Москве о дне и месте публичной экзекуции. Сообщалось, что казнь состоится 10 января на Болотной площади.

ГЛАВА 16. «ПРОСТИ, НАРОД ПРАВОСЛАВНЫЙ!»

Была сильная стужа. В сизом морозном тумане с ночи зашевелилась Москва. Затемно со всех концов стекался народ к Болоту. Пешком тянулись простолюдины, в каретах и экипажах съезжались богатые господа.

Здесь возвышался эшафот, огражденный решетками, с длинным шестом на середине, а наверху шеста — колесо, по краям же от эшафота с обеих сторон — три виселицы. Деревянная лестница с широкими ступенями вела на возвышение, на котором уже расхаживали палачи.

Тесно выстроенные четырехугольником войска с заряженными ружьями не подпускали простых людей к эшафоту. Только дворяне, выйдя из колясок и экипажей, беспрепятственно проникали к

лобному месту. По словам одного из современников, предстоящая казнь была для дворян «истинным торжеством над общим их врагом».

Описание этой казни дошло в записях ряда очевидцев. Но особенно подробный рассказ о своем впечатлении от казни Пугачева оставил русский поэт Иван Иванович Дмитриев, который четырнадцатилетним подростком был вместе со своим братом привезен родственником на Болотную площадь «в восемь или десять часов по полуночи». «Это происшествие так врезалось в память мою, что я, надеюсь, и теперь с возможной верностью описать его могу, по крайней мере, как оно мне тогда представилось». И он вспоминает:

Вокруг эшафота были выстроены пехотные полки. «Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине жестокого мороза. Тут же находился и обер-полицмейстер Архаров, окруженный своими чиновниками и ординарцами.

На высоте или помосте лобного места увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фрунта все пространство болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок.

Вдруг все всколебалось и с шумом заговорило:

— Везут, везут!»

Пугачева и других осужденных везли от Монетного двора, и весь путь их до Болотной площади был тоже заполнен народом. Впереди процессии вышагивал отряд кирасир, за ним двигались необыкновенной высоты сани, окруженные конницей. В санях, спиной к вознице, сидел Пугачев. Был он с непокрытой головой, в длинном белом тулупе.

«Я не заметил в чертах его лица ничего свирепого, — пишет Дмитриев. — На взгляд он был лет сорока, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали».

Рядом с ним стоял в санях Перфильев. Вот его Дмитриев запомнил «свиреповидным».

Напротив них сидели священник и чиновник Тайной экспедиции.

За санями шли другие осужденные. Когда процессия остановилась против лестницы, ведущей на эшафот, Пугачева и Перфильева в сопровождении священника и двух чиновников ввели на возвышение.

Раздалась команда: «На караул!»

И один из чиновников принялся читать приговор:

— Объявляется во всенародное известие...

Во время чтения приговора Перфильев — высокий, широкоплечий, сутулый — стоял оцепенело, потупя глаза в землю.

Пугачев же был подвижен — он то крестился на собор, то с живейшим участием всматривался в лица стоящих внизу перед эшафотом сподвижников, то окидывал быстрым взглядом многолюдную площадь.

О чем думал он в последние минуты жизни?..

...Четыре месяца назад здесь же, на Болотной площади, был казнен верный атаман Иван Белобородов. А в Оренбурге нашел смерть Хлопуша, в Саратове — писарь Дубровский, и неизвестно где — Кинзя Арсланов. В иных местах необъятной Руси погибли другие сподвижники. В Катькиной же тюрьме сидит и жена Софья Дмитриевна, и сын Трошка, и дочери малолетние. И вот приспел его срок.

— Сообщники злодейские признались во всем и покаялись, — оглашает бумагу чиновный глашатай.

В чем признались, перед кем покаялись?

Емельян и сам сказал судьям: «Каюсь!» Да ведают ли они, в чем?..

Закаменел, ни слова не говорит Афанасий Перфильев, «главнейший любимец злодея», как написали про него производители следствия. Разве он покаялся в содеянном?

А Зарубин-Чика, нареченный графом Чернышевым... Разве унизился сей «присный любимец» Емельяна добровольным покаянием перед императрицыными слугами, кои склоняли его к смирению? Гордо выпрямленный, слушает он приговор: «...отсечь голову и взоткнуть ее на кол для всенародного зрелища, а труп сжечь с эшафотом купно. И сию казнь совершить в Уфе, яко в главном из тех мест, где все его богомерзкие дела производимы были». Привезли его сюда, дабы восчувствовал он, что ждет и его через месяц сроку. Да не пал духом Чика, стоит неколебимый, глазами посверкивая по-прежнему.

А Максим Шигаев, жизнь проживший немалую, да и Василий Торнов-Персиянин, будто вконец иссохший, тощий, и насмешливый острослов «депутат» Тимофей Подуров — эти трое тоже духом крепки. Ведь для них сколочены виселицы, но в глазах нет перед смертью страха и мольбы позорной, прошения к погубителям нет!

Немного вместе прошли Пугачев с Шигаевым: под Сакмарой попался Максим Григорьевич в руки усмирителям и до сего мига пребывал в темнице. Но вот сошлись они опять напоследок, и оттого радостно Емельяну, будто знак доброй верности их сердечной, что стоят они здесь сейчас оба, от первого дня с Оболяевского умета до смертного часа неразлучные. И не только Максим Шигаев, иные есть яицкие казаки, кои, пристав к Емельяну с изначала, до конца остались ему верные: Тимофей Мясников и Михайло Кожевников, Петр Кочуров да уметчик Степан Оболяев — «Еремина Курица», писарек молодехонький Ванюшка Почиталин... Клялись-божились они еще на Таловом умете и на Усихе — до последнего вздоха, до последней капли кровушки служить верой-правдой, живым в руки дворян-ворогов не отдать.

И соблюли клятву — не отдали! Другие нашлись изменщики.

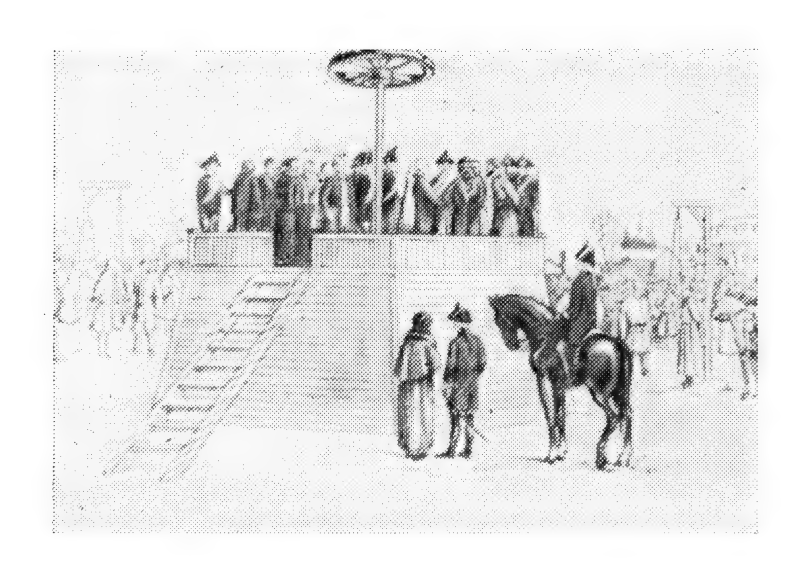
По разным сторонам от эшафота топчутся сейчас раздельно способники верные и гнусные предатели, но не столь этим шатким помостом друг от друга они отъединены, сколь незримой чертой, что пролегает меж чистой совестью и бесчестием... Не зря молвится — в семье не без урода... Распалось войско Яицкое, родичи и те раздвоились: Петр Кочуров среди Емельяновых содейственников, а младший его братуха Кузьма — с изменщиками. Или писарек Ванюшка — на каторгу заклеймен с вырыванием ноздрей, а родной отец его — бородач степенный Яков Почиталин союзно с Чумаковым да Твороговым у Катьки-царицы снисхождение себе вымолил.

— Явил себя злодей Пугачев врагом роду человеческому! — громогласно объявляет глашатай, читая государственную сентенцию.

Но поклеп это, сущий поклеп, черная напраслина.

Вот купчишка Иван Иваныч, именуемый Долгополовым, истинно — злодей! И его казнит десница державная кнутом, клеймением, ноздрей вырыванием, каторгой! Польстился он, прощелыга, чужим достоянием поживиться и, к людям презрением полнясь, даже преданнейшего Перфильева оклеветал, продажным изменщиком выставив, — всех привычно на корыстный свой лад меряет! И хотя наказуется он в сей же час единовременно с Емельяном, он-то и есть доподлинный вор-разбойник, который сгинет в безвестности, властью презренный и народом потерянный.

Пугачев же брал города и жительства не ради разорения и бедствия несчастных людей и храмы божьи разрушал, алтари святые, жертвенники поругал не ради грабительства, а поелику жизнь вольную мечтал сотворить всему люду забитому!



Казнь Е. И. Пугачева в Москве 10 января 1775 года.
С рисунка А. Т. Болотова.

И лелеет Емельян великую надежду: еще восстанут рабы победно! Порукой тому — неизбывное в народе брожение. Из их же Зимовейской станицы казак Стенька Разин сто лет назад прошел по Волге со своей забубенной вольницей. И за Емельяном поднимутся новые. Пусть хоть сто лет протянется, а наступит час желанный, и сотворится привольная жизнь, за которую нынче пролита кровь. Не напрасно пролита: людьми себя рабы почуяли!

И все же готов пред народом Пугачев покаяться. Не за злодейство, о коем в сентенции писано, а за то, что преуспеть не сумел в затеянном. Прино-

сит он чистое покаяние всем русским и нерусским жителям земли родной, с кем доводилось встретиться. И незнакомым соратникам, которых несметное множество! А наипаче всем, кто в сраженьях пал, в казематах погиб замордованный. И еще тем отважным, которые и до сей поры продолжают свой смертный бой.

Так перед лицом притихших простолюдинов, собравшихся на московской Болотной площади, среди разодетых дворян, с поклонами на все четыре стороны, и начал Емельян Пугачев прощаться с миром...

Из воспоминаний И. И. Дмитриева:

«По прочтении манифеста духовник сказал несколько слов и сошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачев сделал с крестным знаменем несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом: кланялся во все стороны, говорил прерывающимся голосом:

— Прости, народ православный, отпусти, в чем я согрубил перед тобою, прости, народ православный.

При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его; сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтанья. Тогда он всплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе...»

Емельян ты наш, родной батюшка!
На кого ты нас покинул?

Из народной русской песни

ГЛАВА 17. БЕССМЕРТИЕ

Крестьянская война продолжалась.

Пугачев был казнен, а по всей Российской империи бурлила народная стихия.

После ухода Пугачева из башкирских степей там долго наводил страх на богатеев Салават Юлаев. «Имя Салавата везде слышно, — писали о нем в те дни, — а посему для поимки его и посланы военные команды, с которыми он неоднократно сражался». Салават и его отец Юлай были схвачены 25 ноября 1774 года.

До последнего времени не был известен год смерти Салавата. Лишь недавно установлено: Салават Юлаев умер в крепости Рогервик 26 сентября 1800 года. Значит, в условиях каторжного труда он провел двадцать пять лет!

Полтораста лет назад поэт П. И. Кудряшов посвятил Салавату Юлаеву стихотворение, в котором есть строчки:

Ты пал! Но ты недаром жил...
Герой в войне неустрашимый,
Ты путь к бессмертью проложил!

Эти слова с полным основанием можно отнести ко всем выдающимся руководителям крестьянской войны.

И в первую очередь, конечно, к самому Емельяну Пугачеву.

Пугачев для народа не умер!

В его гибель просто никто не поверил. По российским деревням, башкирским улусам и уральским заводам упорно распространялись вести о том, что «батюшка Емельянушка» спасся, сбежал от охраны, не доезжая Москвы, и, собрав новую неисчислимую рать, движется вновь на помощь обездоленным. В марте 1775 года — через два месяца после казни — Пугачева так ждали на Урале, что власти были вынуждены обратиться к населению с воззванием, в котором подробно разъяснялось, как «злодей» принял «всенародно смерть на Болоте в Москве».

Однако и подобные разъяснения мало кого убеждали. Даже спустя год в Исетской провинции местные жители говорили: «Пугачев не умер, он ушел с 12 тысячами верных в Крым».

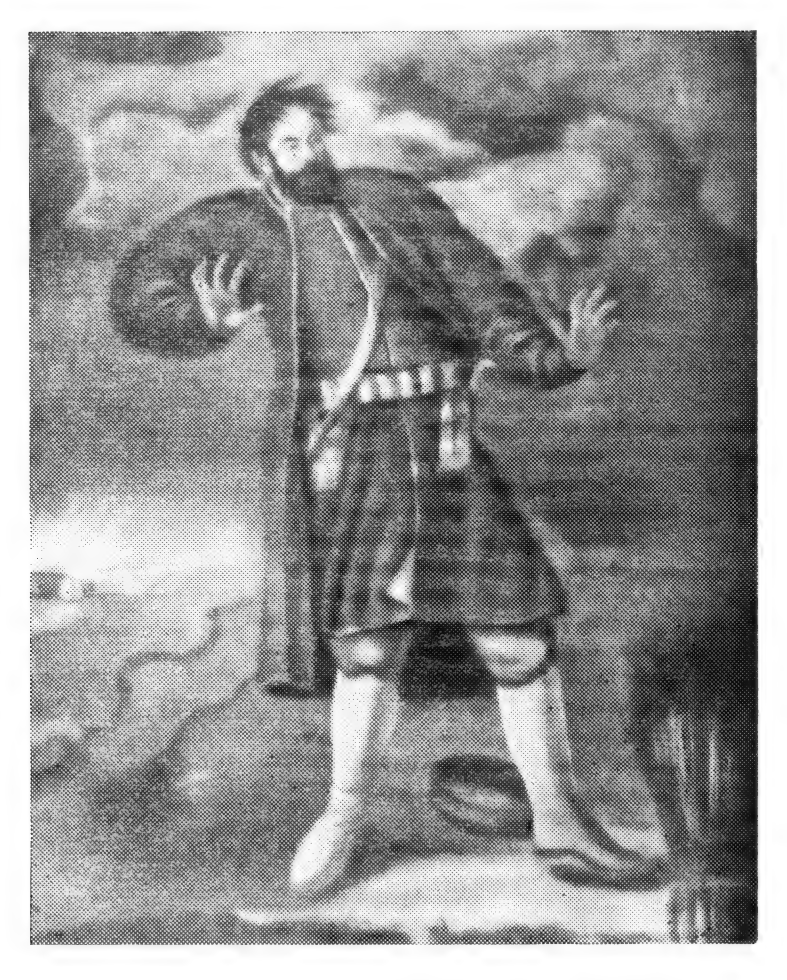
Нежелание потерять Пугачева породило даже версию о его братьях. «Ныне выходят с заводов мужики, — докладывали П. Панину, — и разглашают... хотя одного Пугачева и искоренили, только еще у него два брата живых».

Вера в неистребимость Пугачева поддерживала у «замордованной черни» повстанческий дух. Крупный отряд в 1775 году появился в районе Астрахани. Возглавил его атаман Заметайло. В 1778 году именем Петра III назвался уральский казак Оружейников. В Сибири пытались поднять восстание пугачевцы, сосланные на алтайские заводы и рудники. В Казахстане успешно действовал двухтысячный отряд, во главе которого стояла женщина, бедная казашка.

Как натянутая струна, гудела и трепетала, откликаясь на пугачевское восстание, взбудораженная от края до края русская земля. Тайная канцелярия Оренбургской губернии разбирала секретные дела о «непристойных слов разглашателях» вплоть до 1779 года.

Екатерина II поставила перед собой цель — навсегда вытравить из народной памяти какие бы то ни было воспоминания о Пугачеве. Особым манифестом предписывалось «предать вечному забвению и глубокому молчанию» его имя. В казенных бумагах утвердился для него «официальный титул» без упоминания фамилии — «известный бунтовщик, самозванец и государственный злодей». Его жене Софье, детям, Устинье Кузнецовой впредь запрещалось называться Пугачевыми — они должны были «сказываться только именами и отчествами» и до конца дней находиться в заточении в Кексгольмской крепости.

Обрушилась она, конечно, и на Яицкое войско — яицких казаков лишили всех привилегий, реку Яик переименовали в Урал, яицких казаков — в уральских, Волжское войско вовсе было распущено, ликвидировали и Запорожскую Сечь. И на родине Пугачева Екатерина не ограничилась уничтожением «злодейского дома»:



Портрет Е. И. Пугачева, написанный в 90-х годах XVIII в. по заказу сына П. И. Панина.

вся станица была перенесена на другой берег Дона и тоже переименована.

Всеми этими действиями самодержавная правительница рассчитывала навеки истребить в подданных «дух пугачевщины».

Да не вышло! Не забыл народ о Пугачеве, а, наоборот, сохранил о нем память как о «красном солнышке», «добром молодце», «Емельяне-батюшке» и «атамане-богатыре».

Богатырем изображен Пугачев даже на картине, которая появилась в конце XVIII века в родовом имении Дугино графа П. И. Панина. Она была создана уже после смерти «главного усмирителя. Сын П. И. Панина заказал ее, видимо, исполняя волю отца. Художник, который ее написал, неизвестен. Но это не профессионал, а самоучка, скорее всего крепостной, из тех иконописцев-самородков, каких было много среди русских крестьян. Этому крепостному художнику и было приказано сделать портрет, на котором «бунтовщик» должен был выглядеть побежденным и морально уничтоженным — растерянным, перепуганным...

Он стоит во весь рост, вскинув кверху руки, как бы отшатнувшись в страхе от охваченного пламенем пшеничного снопа. Из глубины снопа, из колосьев, высовывается голова дьявола, символизирующего то зло, во власти которого якобы пребывал «изверг рода человеческого». Все другие детали этой в некотором роде фантастической картины также должны были символично «уничтожать поверженного в прах злодея» — за спиной у него горит дворянская усадьба, а у ног лежит сброшенная порывом бури шапка, волосы растрепаны, пола кафтана откинута в сторону.

Если присмотреться внимательнее, можно обнаружить, что Пугачев на картине совсем не такой, каким хотели увидеть его господа заказчики. У него удлиненная, тонкая фигура — а так на древнерусских иконах писали только святых! И не казацкая простая одежда на нем, а изящный синий камзол, подпоясанный нарядным разноцветным кушаком. На ногах красные сапоги... Волосы свисают на лоб красивыми волнистыми прядями. У пояса дорогая сабля с серебряной рукояткой.

Большого сходства с Пугачевым, каким мы его видим на других

портретах, здесь нет. Но художник, как видно, и не стремился к этому. Он изобразил мужественного гиганта, наделенного огромной внутренней духовной силой.

Преподнося Денису Давыдову «Историю Пугачевского бунта», А. С. Пушкин сделал на ней надпись:

Вот мой Пугач — при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой.
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

В этих строчках за их внешней шутливостью скрыта горькая ирония. Пушкин понимал, что в условиях крепостнической России такой талантливый человек, как Пугачев, был бы обречен остаться лишь урядником — не больше. Стихия же народного восстания подняла его и поставила выше многих екатерининских военачальников.

Долгие годы народная молва продолжала связывать его имя с именем Петра III, упорно — из поколения в поколение — передавала веру простых людей в то, что их вождь был не «набеглый» царь, а доподлинный, «природный»!

Когда через 50 лет после казни Пугачева Пушкин, собирая о нем сведения в Берде, обратился к одному старику с просьбой: «Расскажи мне, дедушка, про Пугача», то услышал поразивший его ответ: «Для кого Пугач, ваша милость, — сердито ответил старик, — а для меня царь-батюшка Петр Федорович!»

И еще через 75 лет, в 1900 году, писатель В. Г. Короленко, побывавший в том же краю у яицких казаков, услышал схожее высказывание:

— Пиши, — заявил ему старик собеседник, — мы, старое войско, так признаем, что настоящий был царь.

— А как же, Ананий Иванович, — нарочно начал выпытывать Короленко. — Он был неграмотен. Указы сам не подписывал.

— Пустое! — ответил старик с уверенностью. — Не то ли что русскую, немецку грамоту знал. Вот как!

После Великой Октябрьской революции в Яицкий городок (ны-

не город Уральск) не раз приезжали писатели, ученые, фольклористы. И всякий раз, записывая там многочисленные легенды и сказы о Пугачеве, они неизменно отмечали, что память о нем в семейных преданиях продолжает свято храниться, как о человеке близком, родном и любимом.

Имя Пугачева на протяжении многих десятилетий вдохновляло русских революционеров на борьбу с самодержавием.

Известно, как, прочитав книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», Екатерина, приказывавшая всем забыть о Пугачеве, сама вспомнила о нем и назвала А. Н. Радищева «бунтовщиком хуже Пугачева». О Пугачеве на своих тайных собраниях говорили декабристы. Ему посвящали стихи революционеры-демократы. Друг Герцена Н. П. Огарев писал: «Если у нас явится Пугачев, то я пойду к нему в адъютанты».

С самых первых дней рождения Советской власти, едва взвился над страной красный флаг, Емельян Иванович Пугачев занял почетное место в ряду бессмертных героев русского народа.

Обрел он свое бессмертие все-таки не под чужим, а под собственным именем!

Как труден, Россия, как горек
Был путь исторический твой! —

писал поэт Михаил Светлов.

Во имя сегодняшнего счастья нашей Отчизны жертвовали жизнями ее лучшие сыны.

Вот так и случилось, что с великой мечтой о будущей свободной России два века тому назад,

Неловко поправив рубаху,
К мучительной смерти готов,
На лобное место без страха
Взошел Емельян Пугачев!



ОГЛАВЛЕНИЕ

Сальников Ю. В.

С16 «...И вольностью жалую!» (Пугачев). Ист. повесть. М., «Молодая гвардия», 1974.

192 с. с ил. (Пионер — значит первый.) 100 000 экз.

Книга рассказывает о вожде крупнейшей в истории России крестьянской войны XVIII века — Емельяне Пугачеве. В повествование включены документы восстания, свидетельства очевидцев.

С $\frac{70803-301}{078(02)-74}$ БЗ—34—028—74

9(С)14

Сальников Юрий Васильевич

«...И ВОЛЬНОСТЬЮ ЖАЛУЮ!» (ПУГАЧЕВ)

Редактор **Ия Пестова**
Художник **Павел Бунин**
Художественный редактор **Владимир Недогонов**
Технический редактор **Иван Соленов**
Корректоры **Галина Василёва, Нина Павлова**

Сдано в набор 15/V 1974 г. Подписано к печати 29/X 1974 г. А01501. Формат 70×108 1/32. Бумага № 2. Печ. л. 6 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 8,3. Тираж 100 000 экз. Цена 35 коп. Б. З. № 34. 1974 г., п. 028. Заказ 935.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

35 коп.



41

ВЫПУСК

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


ПУГАЧЕВ